

S(c)p
C 42

Книжка не позже
указанного здесь срока

Кол-во продан. выдан

Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Кол-во продан. выдан

8902

6000

МУЗЫКОВСКАЯ
Т. №
Инв. № 1979
МУЗЫКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

~~891~~

~~с 42~~

8(с)р

с 42

МУЗЫКОВСКОЙ

1972

Книгощита на
указан

Копия.

5903

Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

891
C 42
8(с) / 10
C 42

ИСТОРИЯ НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1848—1906 гг.

А. М. Скабичевскаго.

1912

ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ.

Исправленное и дополненное.

Съ 55 портретами въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Блигопечатня Шмидтъ. Звенигородская, 20.
1906.

Учб. 5904
7158 X

Книгощитна на
Универзитет

//

Изд. см 1/59.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. Общій обзоръ литературнаго движенія въ разсматриваемую эпоху и исторія критики.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.—I. Установленіе граней послѣдняго періода нашей литературы. — II. Картина старыхъ литературныхъ нравовъ.—III. Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ и внесеніе ими новыхъ литературныхъ нравовъ. — IV. Типъ умственнаго развитія стараго періода. — V. Новый типъ умственнаго развитія. — VI. Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.	Стр. 1
ГЛАВА ВТОРАЯ.—I. Общая картина реакціи пятидесятихъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направленій. Кочующіе писатели. Преобладаніе въ журналахъ специальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библиографическихъ изысканій.—II. Сказочная великовѣтская беллетристика. В. А. Вонлярлярскій. Е. В. Сальясъ де-Турнемиръ. Евд. Як. Панаева (Станицкая Н.). Барышническая полемика.—III. Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятихъ годовъ. — IV. Петербургскіе критики пятидесятихъ годовъ: Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина и Анненкова.—V. Забвеніе всѣхъ заветовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Вѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства. . .	13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.—I. Московская оппозиція: изданіе <i>Протилевъ</i> и возникновеніе славянофильства. Биографическія свѣдѣнія о жизни И. и П. Кирѣевскихъ, А. С. Хомякова, К. и И. Аксаковых.—II. Религиозные и философско-историческіе взгляды первыхъ славянофиловъ.—III. Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи.—IV. Погромы, испытанныя ими.—V. Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды.—VI. Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: А. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами.—VII. Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ.	27
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.—I. Одичаніе общества и забвеніе идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятихъ. Статья Пирогова: <i>Вопросы жизни</i> , какъ образецъ этого одичанія.—II. Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи.—III. Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Вѣлинскаго. Теорія В. Майкова. — IV. Биографическія данныя о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго.—V. Диссертация его: <i>Объ отношеніи искусства къ действительности</i>	52
ГЛАВА ПЯТАЯ.—I. Дѣтство и семинарскіе годы Н. А. Добролюбова.—II. Пребываніе его въ педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь	*

его.—III. Философскіе и моральныя взгляды Добролюбова.—IV. Эстетическія теоріи Добролюбова. Сѣмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы.—V. Публицистическій характеръ критики Добролюбова.—VI. Двѣ категоріи его взглядовъ.—VII. Противорѣчія Добролюбова, обусловливаемая двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова	70
ГЛАВА ШЕСТАЯ.—I. Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ шестидесятыхъ годовъ. Два полюса этого движенія.—II. Романъ <i>Что дѣлать?</i> и его значеніе въ свое время.—III. Идеалы этого романа.—IV. Значеніе <i>Русск. Слова</i> и характеръ его сотрудниковъ.—V. Д. И. Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство.—VI. Гимназическіе и студенческіе годы Писарева.—VII. Послѣдній періодъ его жизни.	85
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.—I. Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева.—II. Отрицаніе Пушкина.—III. Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа.—IV. Признаніе естественныхъ наукъ панaceaю общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія.—V. М. А. Антоновичъ, Полемика <i>Современника</i> съ <i>Русскимъ Словомъ</i> .—VI. Журналистика 70-хъ годовъ. Выдающіеся критики 70-хъ и 80-хъ годовъ: Н. К. Михайловскій, А. Н. Пыпинъ, М. К. Цебрикова, К. К. Арсеньевъ, П. Н. Ткачевъ, М. А. Протопоповъ, С. А. Венгеровъ.	100

II. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.—I. Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе.—II. И. С. Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители.—III. Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за границу послѣ университета.—IV. Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти.—V. <i>Записки охотника</i> . Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти.—VI. Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева.—VII. Романъ <i>Отцы и дѣти</i> и характеристика четвертаго, послѣдняго, періода дѣятельности Тургенева.—VIII. Общее значеніе Тургенева, какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія	120
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.—I. Родители и воспитатели И. А. Гончарова и его дѣтство.—II. Воспитаніе школьное и университетское. Служба. Первые литературные опыты. Знакомство съ литературными кружками. Выходъ въ свѣтъ <i>Обыкновенной исторіи</i> .—III. Среда, влиявшая на умственное развитіе Гончарова, и складъ его таланта. Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго.—IV. Дальнѣйшіе факты его жизни. Путешествіе вокругъ свѣта. <i>Фрегатъ Паллада</i> .—V. <i>Обломовъ</i> .—VI. <i>Обрывъ</i> и остальные его сочиненія	140
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.—I. Графъ Л. Н. Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно.—II. Характеристика произведеній этого періода его жизни.—III. Увлеченіе прогрессомъ конца пятидесятыхъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—IV. Гр. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полнаго отрицанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—V. Пятнадцать лѣтъ жизни послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ <i>Война и миръ</i> .—VI. Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей гр. Толстого. Результаты переворота.—VII. Романъ <i>Анна Каренина</i> . Теолого-моральныя сочиненія гр. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни	157
ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.—I. Дѣтство и воспитаніе Ф. М. Достоевскаго.—II. Жизнь до ссылки.—III. Ссылка. Женитьба. Возвращеніе.	

Издание журналов.—IV. Остальная жизнь до смерти.—V. Отличие Достоевского от прочих беллетристов сороковых годов по міросозерцанию и характеру творчества.—VI. Сложность сюжетовъ. Психиатрический анализъ. Жестокость. Преобладающіе типы.—VII. Два періода его литературной дѣятельности и характеръ каждаго періода. Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака.

Стр.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.—I. С. Т. Аксаковъ.—II. Д. В. Григоровичъ.—III. А. Ѳ. Писемскій.—IV. М. В. Авдѣевъ.—V. Н. Д. Хвощинская.—VI. Н. С. Соханская (Кохановская).

178

197

III. Беллетристы-народники.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.—I. Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное воззрѣніе на народъ беллетристовъ сороковых годовъ. Марко-Вовчекъ.—II. Смѣхотворно-отрицательное отношеніе къ народу. Н. В. Успенскій и В. А. Слѣпцовъ.—III. Официальное изученіе народнаго быта. С. В. Максимовъ, Г. П. Данилевскій.—IV. П. И. Мельниковъ.—V. Начало объективнаго изученія народнаго быта. П. И. Якушкинъ.

218

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.—I. Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесене ими новаго духа въ изображенія изъ народнаго быта. Ѳ. М. Рѣшетниковъ и его дѣтство.—II. Юность Рѣшетникова до пріѣзда въ Петербургъ.—III. Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подлиповцы* и прочія его сочиненія.—IV. А. И. Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни.—V. Сравненіе Левитова съ Рѣшетниковымъ. *Стенные очерки* Левитова.—VI. Характеръ и содержаніе послѣдующихъ его произведеній.—VII. Н. И. Наумовъ. Его жизнь и сочиненія. П. В. Засодимскій.

239

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.—I. Г. И. Успенскій и Н. Н. Златовратскій, какъ представители новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность Г. И. Успенскаго и неблагоприятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его творчества.—II. Общій характеръ творчества Гл. Успенскаго и характеристика перваго, разночиннаго, періода его дѣятельности.—III. Переходное состояніе и вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкой.—IV. Гл. Успенскій въ качествѣ разрушителя иллюзій въ воззрѣніяхъ интеллигенціи на народъ.—V. Гл. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирующихся вокругъ этого произведенія.—VI. Біографическія свѣдѣнія о Златовратскомъ.—VII. Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ имъ типовъ.

261

IV. Беллетристы-публицисты.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.—I. Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. М. Е. Салтыковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и воспитаніе.—II. Ссылка.—III. Возвращеніе, служба, женитба и редакторская дѣятельность.—IV. Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть.—V. Первый, дореформенный, характеръ его литературной дѣятельности. *Губернскіе очерки*.—VI. Второй періодъ, современный реформамъ. *Полтавуръ и полтавурши*. *Исторія одного города*.—VII. Третій періодъ пореформенный—шестидесятые и семидесятые годы. *Ташкентцы*. *Дневникъ провинціала*, *Головлевы*.—VIII. Трагическій элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова.—IX. Четвертый періодъ—восьмидесятыхъ годовъ. *Мелочи жизни*. *Сказки*. *Пошехонская старина*.

282

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.—I. Н. Г. Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе годы.—II. Остальные годы его жизни.—III. Харак-

теристика его сочинений: <i>Очерки бурсы, Млыцанское счастье, Молотовъ, Братъ и сестра, Портычане.</i> —IV. Возникновение идеалистической школы беллетристики <i>Русскаго Слова</i> , причины ее развития и особенности ее. А. К. Шеллеръ. Главные факты его жизни.—V. Характеристика его произведений.—VI. Н. О. Бажинъ. И. В. Оедоровъ (Омулевскій).—VII. К. М. Станюковичъ. Д. К. Гирсъ. И. А. Куцевскій	310
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.—I. Общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря. П. Д. Боборыкинъ.—II. Е. Л. Марковъ.—III. Вас. И. Немировичъ-Данченко.—IV. С. Н. Терпигоревъ. И. А. Саловъ.—V. Н. Д. Ахшарумовъ. Н. А. Лейкинъ	328
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.—I. Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблоны.—II. В. П. Ключниковъ.—III. Н. С. Лѣсковъ.—IV. В. В. Крестовскій.—V. Болеславъ Мих. Маркевичъ. В. Г. Авсѣенко. К. О. Головинъ. В. П. Авенариусъ.	342

V. Историческая беллетристика.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.—I. Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятыя годы.—II. Историческіе повѣсти и романы Н. И. Костомарова.—III. <i>Князь Серебряный</i> А. К. Толстого. <i>Война и миръ</i> Л. Н. Толстого. <i>Два портрета</i> И. С. Тургенева. <i>Старые годы</i> П. И. Мельникова. Историческіе романы Г. П. Данилевскаго и Д. Л. Мордовцева.—IV. Романы Е. А. Салиаса-де-Турнемиръ. Характеристика лубочнаго историческаго романа и представитель его В. С. Соловьевъ.	354
---	-----

VI. Беллетристы восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.—I. Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семидесятыхъ годовъ, и ея особенности.—II. А. О. Новодворскій.—III. Биографическія свѣдѣнія о жизни В. М. Гаршина.—IV. Характеристика его произведений.—V. А. П. Чеховъ.	367
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.—I. В. Г. Короленко. Его біографія.—II. Произведенія В. Г. Короленко.—III. И. Н. Потапенко. Д. Н. Маминъ.	383
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.—I. Беллетристы 90-хъ годовъ. А. М. Пѣшковъ (М. Горькій). Биографическія свѣдѣнія о немъ.—II. Характеристика его произведений.—III. В. В. Смидовскій (Вересаевъ). С. Я. Елпатіевскій. Л. Андреевъ и пр.—IV. Женщины-писательницы: С. И. Смирнова. О. А. Шапиръ. М. В. Крестовская. Л. И. Веселитская (Микуличъ). А. С. Монтвидъ (Шабельская) и пр.	391

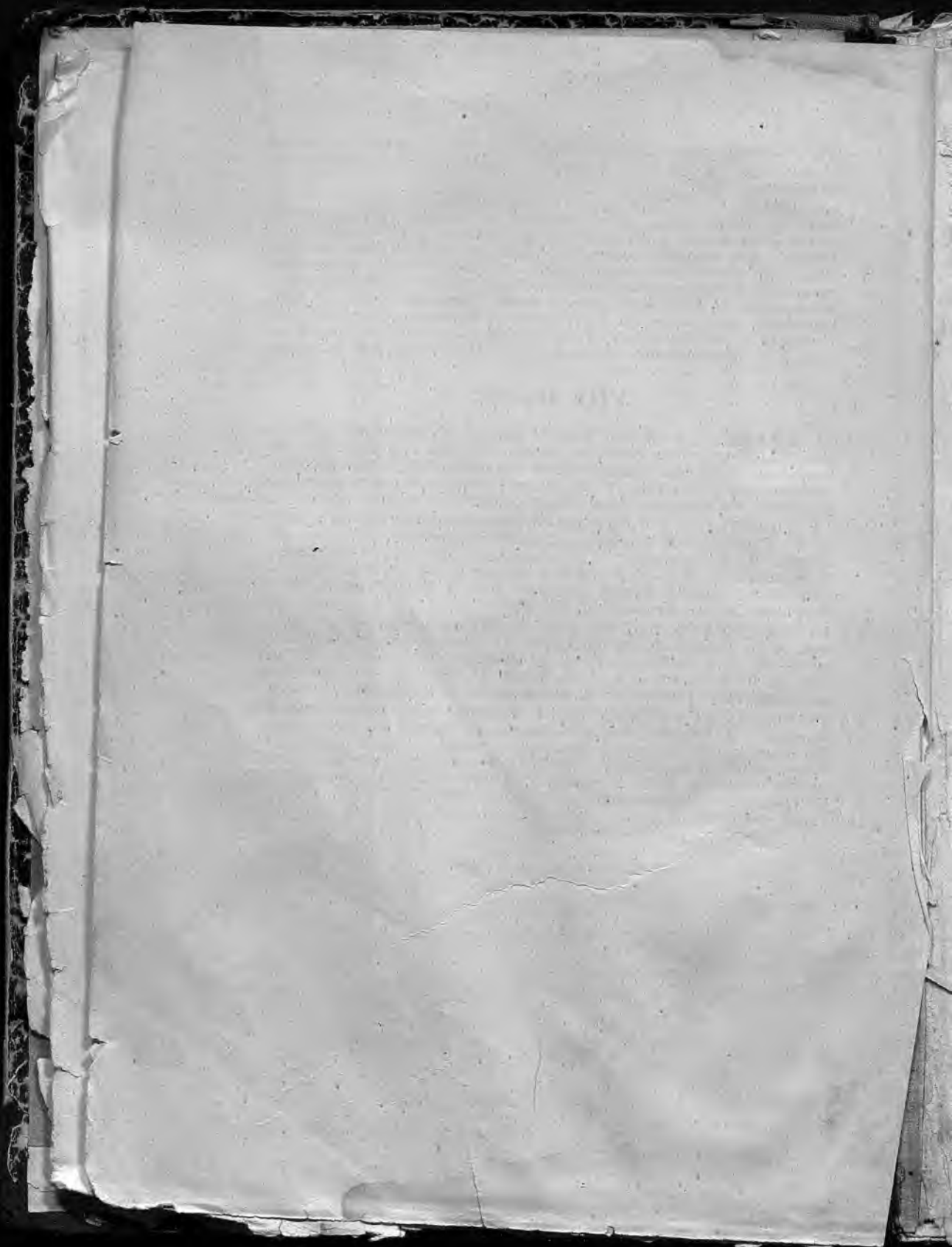
VII. Драма и комедія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.—I. А. Н. Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его.—II. Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ.—III. Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни; недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни.—IV. Общая характеристика пьесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность.—V. Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствие односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы.—VI. Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого	
---	--

духа въ пьесахъ перваго періода: <i>Не въ свои сани не садись</i> , <i>Бѣдность не порокъ</i> . Драма <i>Не такъ живи, какъ хочеться</i> , какъ апогей славянофильскихъ вліяній.	Стр. 400
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.—I. Переломъ въ творествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ: <i>Въ чужомъ пиру похмеле</i> и <i>Не все кому масленица</i> , какъ похоронъ самодурства. Драма <i>Гроза</i> и противовѣсъ ея съ драмою <i>Не такъ живи, какъ хочеться</i> .—II. Общее резюме всего выше сказаннаго. Положительные типы Островскаго.—III. Отрицательные типы. Универсальность изображенія русской жизни. Богатство языка.—IV. Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогія А. К. Толстого. А. И. Пальмъ.—V. А. А. Потѣхинъ.—VI. А. В. Сухово-Кобылинъ. И. Е. Чернышевъ. Н. Я. Соловьевъ. В. А. Крыловъ. Д. В. Аверкиевъ.	420

VIII. Поэзія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.—I. Дѣтство и юность Н. А. Некрасова.—II. Послѣдующіе факты его жизни.—III. Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлексивнаго элемента.—IV. Характеръ различно-народнаго элемента.—V. Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ	433
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.—I. Біографическія свѣдѣнія о жизни Т. Г. Шевченко.—II. Характеристика его произведеній.—III. И. С. Никитинъ. И. З. Суриковъ. С. Д. Дрожжинъ.—IV. А. Н. Плещеевъ. Л. Мельшинъ (П. Я.).—V. Развѣтїе и процвѣтаніе въ шестидесятыя годы сатирической поэзіи. Кузьма Прутковъ и А. М. Жемчужниковъ. В. С. Курочкинъ и его <i>Искра</i> . Д. Д. Минаевъ.	451
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.—I. Школа поэтовъ чистаго искусства. А. К. Толстой. Факты его жизни.—II. Характеристика его произведеній.—III. А. Н. Майковъ.—IV. А. А. Шеншинъ (Феть).—V. О. И. Тютчевъ. Я. П. Полонскій.—VI. Л. А. Мей. Н. О. Щербина.—VII. Поэты-переводчики: Н. В. Гербель. П. И. Вейнбергъ. М. И. Михайловъ.	473
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.—I. Характеристика новыхъ скорбныхъ поэтовъ. С. Я. Надсонъ. Факты его жизни.—II. Причина его популярности. Его нравственная физиономія, характеръ и духъ его произведеній. С. Г. Фругъ.—III. Н. М. Минскій.—IV. Д. С. Мережковскій. Новѣйшіе поэты чистаго искусства: А. Н. Апухтинъ. К. М. Фофановъ. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. С. А. Андреевскій	492
Алфавитный указатель.	503



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I. Установленіе граней послѣдняго періода нашей литературы.—II. Картина старыхъ литературныхъ нравовъ.—III. Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ и внесеніе ими новыхъ литературныхъ нравовъ.—IV. Типъ умственнаго развитія стараго періода.—V. Новый типъ умственнаго развитія.—VI. Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.

I.

Литературный періодъ, съ которымъ намъ придется имѣть дѣло въ этой книгѣ, считается гоголевскимъ; прямо и непосредственно ведутъ его отъ Гоголя, который, произведя полный переворотъ въ нашей беллетристикѣ и создавши «натуральную школу», устремилъ русскую литературу на новый путь, по которому она идетъ, будто-бы, и донинѣ.

Мнѣніе это возникло вполне естественно. Когда произведенія Гоголя привлекли всеобщее вниманіе, и молодежь, подъ вліяніемъ Бѣлинскаго, зачитывалась ими, въ числѣ ея находились и тѣ будущіе писатели, которые явились на литературное поприще въ теченіе сороковыхъ годовъ. То новое, что эти писатели впоследствии внесли въ нашу литературу, конечно, въ то время еще не существовало, и никто его не предвидѣлъ. Произведенія Гоголя представлялись послѣднимъ словомъ литературы. Образы ихъ потрясали юныя сердца своею геніальностью и вмѣстѣ съ тѣмъ исключительною отрицательностью вполне гармонировали съ мрачнымъ колоритомъ времени. Въ то же время Бѣлинскій не переставалъ твердить, что съ Гоголя начинается новая эпоха нашей литературы, рѣшительный ея поворотъ на путь натурализма. И вотъ молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ привыкло смотрѣть на Гоголя, какъ на своего учителя, которому оно обязано всѣмъ литературнымъ достоинствомъ.

Но если мы постараемся уяснить себѣ болѣе точно и опредѣленно, чѣмъ же собственно писатели сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ были обязаны Гоголю, то мы должны будемъ придти къ заключенію, что вліяніе Гоголя на послѣдующую литературу далеко не было такимъ всеобъемлющимъ, какъ мы привыкли думать.

Если мы будемъ считать Гоголя родоначальникомъ послѣдующей литературы съ одной эстетической точки зрѣнія, то и такое мнѣніе крайне условно. Натурализмъ явился въ русской литературѣ вовсе не въ видѣ *coup d'état*, внезапнаго открытія, принадлежащаго исключительно одному Гоголю. Это не воинственный завоеватель, вторгшійся Богъ вѣсть откуда и разомъ все перевернувшій кверху дномъ, а мирный колонизаторъ, постепенно, медленно и незамѣтно прокрадывавшійся въ нашу литературу въ продолженіе всей первой половины нынѣшняго столѣтія, и притомъ, собственно говоря, не въ одну нашу, а и во всѣ европейскія. Всюду на зна-

мени романтизма красовалось слово «народность», и эта именно народность, въ связи съ различными демократическими вѣяніями, и обратила вниманіе читателей на жизнь маленькихъ людей, составляющихъ народныя массы, что и привело всѣ литературы къ натурализму.

Замѣчательно, что и Вѣлинскій, въ послѣднемъ своемъ обзорѣ*), первыя зачатки натурализма видитъ уже въ Кантемирѣ, Фонвизинѣ, Крыловѣ, а тѣмъ болѣе въ Пушкинѣ.

„Наконецъ,—говоритъ онъ,—явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба (идеальный и реальный), до того тепше отдѣльно, ручьи русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чистого русскія звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившею всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ,—не съ книжками и пистолетами, а съ широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телегъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекладныхъ корзинахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханною дотогѣ сценою для прозаическаго трагическаго событія. Но въ „Евгеніи Онегинѣ“ идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, или, по крайней мѣрѣ, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности со всѣми ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дразнами; около двухъ или трехъ лицъ, опозитивированныхъ или вѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посѣище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

„Что же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ? Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью—къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полеваго, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше: мы говоримъ объ общемъ имъ всѣмъ стремленіи—сблизить романъ съ дѣйствительностью, одѣлать его вѣрнымъ ея зеркаломъ“.

Такимъ образомъ Гоголь является вовсе не однимъ изъ тѣхъ новаторовъ, которые вводятъ нѣчто совершенно до нихъ небывалое. Онъ повиновался лишь общему теченію развитія современной ему литературы и представляетъ одну изъ ступеней ея спуска изъ заоблачныхъ высотъ на почву дѣйствительности. Послѣдующіе же литераторы отнюдь не остановились на этой ступени, а пошли далѣе и создали новую эпоху въ нашей литературѣ, внося въ нее нѣчто такое, о чемъ Гоголь лишь смутно гадалъ и что ему рѣшительно не давалось по скудости его образованія.

Дѣло въ томъ, что гениальная мѣткость, съ которою осмѣивалъ Гоголь все, что было въ его время наиболѣе пошлаго и грязнаго на Руси, была вполнѣ инстинктивна, и произведенія Гоголя поражаютъ отсутствіемъ какихъ-либо сознательныхъ идеаловъ, во имя которыхъ осмѣивалась дѣйствительность. Это смущало постоянно самого Гоголя, заставляя его прибѣгать къ разнымъ натянутымъ объясненіямъ внутреннихъ пружинъ своего смѣха, въ родѣ «незримыхъ міру слезъ» или «страха грядущаго закона». Наконецъ въ *Исповѣди* своей онъ самъ признался откровенно, что своимъ смѣхомъ онъ просто-на-просто лѣчилъ отъ тоски, ему самому необъяснимой, и, чтобы развлекать себя, придумывалъ все смѣшное что только могъ выдумать, *вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза.* Лишь приступивши къ

*) *Взглядъ на русскую литературу 1847 г.*, кн. XI, стр. 338—340. Изд. 1883 г.

Мертвымъ Душамъ, Гоголь впервые началъ задумываться надъ тѣмъ, ачѣмъ, къ чему это, что долженъ сказать собою такой-то характеръ, что должно выразить собою такое-то явленіе? Результатъ подобнаго законнаго стремленія осмыслить свой смѣхъ, найти для него разумныя основанія былъ, какъ извѣстно, очень печаленъ для Гоголя: вслѣдствіе крайней скудости философскаго образованія, Гоголь началъ добиваться осмысленія своего творчества не путемъ усвоенія передовыхъ европейскихъ идей своего вѣка, а нравственнымъ самоуглубленіемъ, и запутался въ лабиринтъ мистико-аскетическихъ умствованій.

Отношеніе же послѣдующихъ писателей къ русской дѣйствительности отнюдь не носитъ подобнаго характера художественной безцѣльности. Напротивъ того, они съ первыхъ же шаговъ своихъ на литературномъ поприщѣ начали анализировать жизнь на основаніи вполне сознательныхъ и опредѣленныхъ политическихъ идеаловъ, которые, не имѣя ничего общаго съ мистико-аскетическими теоріями Гоголя, были внушены имъ передовымъ движеніемъ вѣка. Принимая все это въ соображеніе, мы считаемъ себя вполне въ правѣ утверждать, что Гоголь не начинаетъ новаго періода нашей литературы, а завершаетъ старый. Этотъ старый періодъ преслѣдовалъ двѣ великія цѣли: съ одной стороны, выработку литературнаго языка и формъ; съ другой, переходъ литературы съ почвы подражательности, риторичности и отвлеченности на почву народности, самобытности и реализма. Гоголь довершилъ эту вѣковую работу. Послѣ него осталась литература съ прекрасно-выработаннымъ языкомъ, стихотворнымъ и прозаическимъ, вполне реальная и самостоятельная. Недоставало этой литературѣ лишь одного, чтобы быть въ истинномъ смыслѣ этого слова европейскою: осмысленнаго, идейнаго содержанія, которое могло бы поставить ее впереди своего времени. Этимъ и объясняется, почему Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь въ переводахъ на иностранныя языки, поражая европейскихъ читателей своею геніальностью, въ то же время далеко не въ такой степени удовлетворяли и увлекали, чтобы кому-либо пришло въ голову ставить ихъ во главѣ европейскаго движенія, какъ ставились нѣкогда Шиллеръ, Гете, Байронъ, вполнѣдствіи Диккенсъ, Теккерей, В. Гюго, Ж. Зандъ, Балзакъ, а нынѣ ставятся русскіе писатели—Тургеневъ, Л. Толстой, Достоевскій. На вышеозначенныхъ классиковъ нашихъ смотрѣли, какъ на писателей, при всей ихъ геніальности, мѣстныхъ, любопытныхъ, какъ первые проблески только-что начинавшагося пробуждаться русскаго національнаго генія. Людямъ, не предубѣжденнымъ противъ Россіи и всего русскаго, могли нравиться въ этихъ геніальныхъ проблескахъ неподдѣльная и горячая любовь къ родинѣ, кристальная нравственная свѣжесть и цѣльность, отсутствіе малѣйшей лжи, фальши, напыщенной риторики, идеально-честное, подвижнически-бережное отношеніе къ каждому произносимому слову. Но не находили европейцы одного въ произведеніяхъ русскихъ классиковъ, для нихъ самаго главнаго: тѣхъ великихъ идей и роковыхъ вопросовъ жизни, какіе волновали Европу, а гдѣ и встрѣчались кое-какіе намеки на эти идеи, отношеніе къ нимъ поражало или дѣтскою незрѣлостью, или легкостью поверхностнаго дилетантизма!

Мы нисколько не ставимъ въ вину этого недостатка нашимъ классикамъ тридцатыхъ годовъ. Онъ нимало не мѣшалъ имъ стоять во главѣ русскаго общества, имѣть большое образовательное вліяніе на массу

русскихъ читателей, младенчески-чуждыхъ всякаго умственнаго развитія и образованія и еще болѣе далекихъ отъ европейскаго движенія идей. Наконецъ, никогда потомство не забудетъ той великой и неоцѣненной заслуги, какую оказали эти литературные корифеи, создавъ литературный языкъ, формы и, наконецъ, поставивши литературу на почву самобытности и реальности. Однимъ словомъ, они завѣщали своему потомству великолѣпный инструментъ, отлично приспособленный для разыгрыванія на немъ какихъ угодно величественныхъ и глубокомысленныхъ классическихъ симфоній. Недоставало только музыкантовъ, которые были бы способны умѣло и разумно воспользоваться этимъ инструментомъ. Музыканты эти не замедлили явиться, и съ нихъ-то собственно и начинается совершенно новая эпоха въ нашей литературѣ.

II.

И дѣйствительно, передъ нами является эпоха до такой степени новая, представляющая такой полный переворотъ во всѣхъ литературныхъ сферахъ, что мы видимъ не одно только внесеніе новаго содержанія въ художественныя произведенія, но полное измѣненіе самыхъ литературныхъ нравовъ.

Старыя литературныя нравы отражали до извѣстной степени патриархальныя понятія, господствовавшія въ обществѣ нашемъ въ XVIII и до половины XIX столѣтій. Вплоть до пятидесятихъ годовъ, въ литературномъ мѣрѣ существовала своя табель о рангахъ, свое мѣстничество и ревнивое чинопочитаніе. Во главѣ литературы господствовалъ особеннаго рода Олимпъ, на которомъ возсѣдали, въ видѣ литературныхъ боговъ, писатели первой величины, каждый со своей свитой. Затѣмъ слѣдовали писатели второстепенные, третестепенные и т. д., вплоть до журнальнаго плебса, пресмыкающагося въ самомъ низу, пишущаго ради презрѣмыхъ денегъ, корыстныхъ барышей, и чуждаго поэтому того высшаго литературнаго благородства и безкорыстія, которыя казались свойственны лишь особаго рода избранникамъ.

Но съ презрѣніемъ смотря на честно заработанныя литературнымъ трудомъ деньги, олимпійцы въ то же время были очень падки на подачки свыше. Всѣ они, вплоть до Гоголя включительно, упорно держались стараго покровительственнаго режима, и поэтому старались вращаться въ великосвѣтскихъ кругахъ, проникать по возможности въ придворныя сферы и всячески заискивать у сильныхъ міра, добываясь то пенсій, то уплаты долговъ, то какой-либо льготы. Это обязывало, и олимпійцы лишь къ маленькимъ смертнымъ вопіяли:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ?»

Что же касается меценатовъ, то, конечно, къ нимъ подобныя гордыя восклицанія не могли относиться. Напротивъ того, приходилось быть тише воды, ниже травы.

Въ литературномъ отношеніи олимпійцы составляли особенное общество, негласное и неорганизованное, но все-таки представлявшее изъ себя нѣчто въ родѣ академіи изящной словесности. Всѣ они были связаны другъ съ другомъ узами болѣе или менѣе короткой дружбы. Старшіе покровитель-

ствовали младшимъ, поощряли ихъ и споспѣшествовали ихъ успѣхамъ мудрыми старческими совѣтами, оказывали имъ протекціи въ высшихъ сферахъ; младшіе благоговѣли передъ старшими, поклонялись имъ, внимали ихъ наставленіямъ и ликовали, когда старшіе пріобщали ихъ къ своему олимпійскому сонму. И дѣйствительно, тутъ было изъ-за чего ликовать: пока олимпійцы не приближали къ себѣ писателя и не возвышали до себя, нечего было и думать попасть въ число олимпійцевъ. Журналы могли сколько угодно расхваливать какого-нибудь своего любимца и признавать въ немъ хотя всемірнаго генія, какъ, напримѣръ, Сенковскій едѣлалъ это съ Кукольниковъ. Писатели въ родѣ Загоскина и Марлинскаго могли пріобрѣтать самую огромную популярность, но всего этого было недостаточно, чтобы писатель становился въ глазахъ публики олимпійцемъ, пока послѣдніе сами не провозглашали его своимъ. И наоборотъ, разъ избранникъ удостоивался этой чести, никакіе критическіе перуны не могли поколебать его репутаціи: олимпіецъ былъ неуязвимъ. Надеждинъ могъ писать какіе угодно злые памфлеты на Пушкина; на Гоголя могла ополчиться цѣлая рать критиковъ, начиная съ братьевъ Полевыхъ и кончая Сенковскимъ и Булгаринымъ, это нимало не вело къ уменьшенію литературнаго величія Пушкина или Гоголя.

Нельзя сказать, чтобы въ литературѣ того времени не было направлений, лагерей, партій, стремившихся проводить тѣ или другіе литературные принципы и вступавшихъ изъ-за нихъ въ ожесточенную борьбу. Такъ, карамзинисты боролись съ шишковцами, романтики—съ классиками. Но вся эта борьба велась преимущественно въ средѣ журнальнаго плебса. Олимпійцы если принимали въ ней участіе, то лишь въ молодые годы, платя дань юности; впоследствии же, съ лѣтами, они обыкновенно каялись въ своихъ полемическихъ подвигахъ, какъ въ грѣхахъ молодости, и все болѣе и болѣе замыкались въ гордыхъ снѣжныхъ вершинахъ своего недоступнаго Олимпа. Одинъ только Пушкинъ, слишкомъ живой и горячій для такой замкнутости, постоянно нарушалъ святость Олимпа, то раздражался злою эпиграммой на Булгарина или Надеждина, то вдругъ предпринялъ изданіе *Современника*, т. е. рѣшился вмѣшаться въ толпу журнальной черни, хотя, по правдѣ сказать, журналъ вышелъ вполне олимпійскій, какъ по своей великосвѣтской чопорности и сухости, такъ и по самой цѣли «*возвратить критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики*».

Въ этой цѣли *Современника* мы видимъ стремленіе олимпійцевъ снова взять въ свои руки критическое законодательство, которое нѣкогда главнымъ образомъ сосредоточивалось на Олимпѣ, въ тридцатые же годы начало замѣтно выскальзывать изъ рукъ его небожителей. Но послѣдніе не подозрѣвали, что часъ ихъ пробилъ. Они ратовали главнымъ образомъ противъ той безпутной, пристрастной и гаерской критики, которая воцарилась тогда въ петербургской журналистикѣ и преимущественно на страницахъ *Библиотеки для Чтенія*, но въ то же время и не замѣчали, какъ росла огромная сила, готовившаяся упразднить ихъ гордый Олимпъ, и росла эта сила въ тѣхъ самыхъ утлыхъ и жалкихъ по внѣшнему виду московскихъ журнальчикахъ, каковы были *Телескопъ* и *Молва*, о которыхъ Гоголь въ своей передовой критической статьѣ въ № 1 *Современника* (*О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 годахъ*) отзывался съ чисто олимпійскимъ пренебреженіемъ.

III.

Эта новая грядущая сила представлялась въ теченіе тридцатыхъ годовъ въ видѣ никому невѣдомыхъ трехъ философскихъ кружковъ молодежи: кружка Герцена, Станкевича и Кирѣевскихъ. Кружки эти то сходились, то расходились между собою и, наконецъ, къ началу сороковыхъ годовъ слились въ два окончательно сплотившіеся лагеря—петербургскій лагерь западниковъ, группировавшійся вокругъ Бѣлинскаго, и лагерь московскихъ славянофиловъ, во главѣ которыхъ стояли братья Кирѣевскіе, Аксаковы и Хомяковъ.

Кружки эти, собственно говоря, и не думали враждовать съ олимпійцами, подкапываться подъ ихъ авторитетъ. Напротивъ того, критики ихъ относились съ большимъ уваженіемъ къ корифеямъ русской литературы, особенно къ Пушкину и Гоголю. Послѣдній, какъ мы выше говорили, былъ поставленъ даже во главѣ новаго литературнаго движенія. Но самымъ своимъ существованіемъ кружки водворяли совершенно новые и небывалые въ литературѣ порядки. Они вполне уподоблялись тѣмъ молодымъ побѣгамъ, которые растутъ сами по себѣ, не ломая и не уничтожая старыхъ сучьевъ, но въ то же время невольно, въ силу своей молодой энергіи, стигиваютъ къ себѣ все соки дерева, и старымъ сучьямъ остается только сохнуть и отпадать отъ ствола. Такъ точно и новые литературные кружки начали притягивать къ себѣ все молодые силы. Начиная съ сороковыхъ годовъ, все вновь появлявшіеся сильные таланты (а какъ много появилось ихъ въ теченіе сороковыхъ годовъ) уже не заискиваютъ знакомства у оставшихся въ живыхъ олимпійцевъ: Жуковского, Крылова, Гоголя,—не стремятся сблизиться съ ними, не нуждаются въ ихъ совѣтахъ, не добиваются отъ нихъ посвященія въ олимпійцы, и лишь при встрѣчахъ издали наблюдаютъ ихъ, какъ оставшіеся еще въ живыхъ рѣдкіе экземпляры вымирающей породы, въ родѣ какихъ-нибудь зубровъ Бѣловѣжской пуши,—и между тѣмъ какъ эти зубры сходятъ одинъ за другимъ въ могилы, молодые писатели ищутъ литературныхъ связей въ сближеніи съ представителями тѣхъ или другихъ журнальных кружковъ. Въмѣсто прежняго іерархическаго порядка, литературный міръ начинаетъ представлять собою теперь федерацію литературныхъ лагерей. Литературныя силы группируются вокругъ журналовъ, которые стремятся быть не одними уже альбомами первостепенныхъ произведеній или сборниками энциклопедическихъ свѣдѣній, а проводятъ то или другое направленіе. Замѣчательно, что и публика, съ своей стороны, начинаетъ требовать отъ журналовъ *направленія*: по крайней мѣрѣ журналы безъ направленія или съ направленіемъ непопулярнымъ теряютъ возможность имѣть много подписчиковъ, какіе бы беллетристическіе шедевры ни помещали они на своихъ страницахъ. Такъ, послѣ смерти Пушкина, печально влачилъ существованіе безжизненный и вялый *Современникъ* подъ редакцію Плетнева и, конечно, постепенно угасъ бы, если бы Некрасовъ въ 1847 году не взялъ его въ свои руки. *Библиотека для Чтенія*, послѣ своего эфемернаго успѣха въ тридцатыхъ годахъ, въ теченіе сороковыхъ и пятидесятихъ существовала на счетъ горсти привычныхъ подписчиковъ, которые съ каждымъ годомъ отставали одинъ за другимъ. *Отечественныя Записки* первенствовали въ продолженіе всехъ сороковыхъ годовъ, благодаря тому, что вокругъ этого журнала группировался наиболѣе вліятель-

ный и популярный кружокъ Бѣлинскаго, сосредоточивавшій въ себѣ все передовое движеніе сороковыхъ годовъ.

Въ то же время литература сдѣлалась теперь силою вполне самостоятельной и независимою. Ее могли сдерживать, подавлять, но утратилась всякая возможность пользоваться мало-мальски талантливыми и вліятельными представителями ея, привлекая ихъ соблазнами земныхъ благъ. Гоголь былъ послѣднимъ могиканомъ, послѣ котораго покровительственный режимъ окончательно рухнулъ. Каждый мало-мальски дорожащій своею репутациею писатель началъ считать главною основой литературной чести ничего не получать за свои произведенія, кромѣ по листной журнальной платы и выручки изъ продажи отдѣльныхъ изданій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ писатели начали цѣнить не по одной даровитости, но также и по вѣрности своему знамени. Въ двадцатые годы не было и слѣда чего-либо подобнаго. Были писатели, уважаемые за таланты или личныя качества: образованность, умъ, доброту;—были презираемые за противоположныя свойства. Но даже и такіе, которые очень горячо увлекались политикой своего времени, рѣзко отдѣляли эти увлеченія отъ литературнаго дѣла и въ литературѣ были скромными служителями музъ, и не только не требовали, чтобы ихъ литературные собратья раздѣляли ихъ политическія убѣжденія, но доходили до такой неразборчивости, что допускали въ свой кругъ людей столь сомнительныхъ, какъ Гречъ, Булгаринъ и т. п.

Полевой въ своемъ *Московскомъ Телеграфѣ* представилъ первые задатки оцѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантливости и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацию. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что былъ, и, нападая на его стремленія къ велико-свѣтскости, намекалъ явно на тѣ новыя официальныя связи, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года.

Въ продолженіе тридцатыхъ годовъ былъ тоже довольно рѣзкій примѣръ всеобщей ненависти и презрѣнія, которая питало большинство мало-мальски порядочныхъ литераторовъ къ Гречу и Булгарину; но ненавидѣли и презирали ихъ не какъ политическихъ враговъ, не за ихъ направление, а за пресмыкательство и наущничество,—качества, чисто нравственныя. Какъ мало люди стараго воспитанія и закала думали о честности и вѣрности своему знамени, можно судить по тому, что тотъ же Полевой, который нападалъ на Пушкина, впоследствии не считалъ для себя постыднымъ явнаться съ Гречемъ и Булгаринымъ, да еще удивлялся, что Бѣлинскій негодуетъ на его литературное поведеніе.

Совсѣмъ не то мы видимъ съ наступленіемъ сороковыхъ годовъ: литературная честность и вѣрность убѣжденіямъ вмѣняются въ такую священную обязанность каждому мало-мальски порядочному литератору, что безъ нихъ немислимою дѣлается литературная репутациа.

IV.

Это радикальное измѣненіе литературныхъ нравовъ и отношеній въ сороковые годы зависѣло отъ того новаго духа, новыхъ идей и литературныхъ требованій, какіе внесли въ литературу философскіе кружки тридцатыхъ годовъ.

Но, чтобы уразумѣть то новое идейное содержаніе, какимъ преисполнились люди сороковыхъ годовъ, надо заглянуть назадъ и посмотрѣть, что представляли собою въ умственномъ отношеніи люди прежнихъ поколѣній, подобно тому, какъ тоже самое сдѣлали мы въ предыдущемъ параграфѣ съ литературными правами.

Сказать, чтобы люди прежнихъ поколѣній были необразованные и круглые невѣжды и чтобы мысль ихъ непробудно спала, было бы большимъ заблужденіемъ. И въ прежніе годы, во вторую половину XVIII вѣка и первыя три десятилѣтія XIX, встрѣчались люди очень образованные, стоявшіе на одномъ уровнѣ съ передовыми умами Европы; и тамъ вы встрѣтите и консерваторовъ, и либераловъ, и скептиковъ, и мистиковъ: стоитъ вспомнить только такія личности, какъ Радищевъ, Мордвиновъ, Тургеневъ, Муравьевъ, кн. Одоевскій, вспомнить молодые годы Пушкина и его друзей. Можно даже сказать, что по своей начитанности люди конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтій превышали всѣ позднѣйшія поколѣнія вплоть до нашихъ дней. Въ то время не искали еще умственной пищи исключительно въ однихъ журналахъ и газетахъ, какъ это многіе дѣлаютъ нынѣ, и потому въ каждой большой помѣщичьей усадьбѣ встрѣчалась обширная бібліотека, заключавшая въ себѣ всю мудрость XVIII вѣка. Между тѣмъ какъ старики, люди временъ очаковскихъ и покоренія Крыма, собирали эти бібліотеки, молодежь, вплоть до пушкинскаго поколѣнія, училась по книгамъ, какія въ этихъ старинныхъ дѣдовскихъ книгохранилищахъ находила. Такимъ образомъ до самыхъ тридцатыхъ годовъ главная основа образованія у передовыхъ людей нашего отечества заключалась во французской философіи эпохи энциклопедистовъ. И дѣйствительно, со временъ Фонвизина и до Пушкина включительно вы видите броженіе однихъ и тѣхъ же идей, одинъ и тотъ же характеръ и типъ мышленія: поверхностный скептицизмъ, основанный на остроуміи вольтеровскаго характера, сенсуализмъ, какъ послѣднее слово морали, и болѣе или менѣе ярый либерализмъ, въ видѣ неопредѣленныхъ, туманныхъ, совершенно безпочвенныхъ порываній къ свободѣ. Впослѣдствіи ко всему этому присоединился байронизмъ, расцвѣтшій на почвѣ того же рационализма XVIII вѣка, какъ антитезъ его, въ видѣ разочарованія въ томъ необузданномъ восторгѣ, съ какимъ въ XVIII столѣтіи праздновалось торжество человѣческаго разума.

Но какъ бы ни оказался несостоятельнымъ рационализмъ прошлаго столѣтія, все-таки на Западѣ, на своей родной почвѣ, онъ имѣлъ то важное преимущество, что былъ почтеннымъ результатомъ трехстолѣтней тяжелой работы европейской мысли, упорно стрѣмившейся свергнуть съ себя средневѣковыя традиціи, и это было дѣйствительно торжество разума, хотя и не такое безусловное, какъ это казалось современникамъ Вольтера и Руссо.

У насъ тѣ же самыя идеи являлись не результатомъ самостоятельныхъ умственныхъ процессовъ, а принимались на вѣру въ видѣ готовыхъ модныхъ отвлеченныхъ формулъ, которыми болѣе забавлялись, какъ дѣти, и щеголяли, какъ дэнди, чѣмъ заботились о примѣненіи ихъ къ жизни. Поэтому такъ легко и разставались съ ними наши передовые люди, съ лѣтами переходившіе обыкновенно къ убѣжденію, что все это болѣе ничего, какъ молодая бредня. Но не одна лѣта играли здѣсь роль: достаточно бывало малѣйшаго толчка жизни, чтобы идеи, болтавшіяся въ головѣ безъ всякой органической, а часто и логической связи, сразу выскочи-

вали изъ нея, и тогда обнажался дѣтскій умъ, совершенно не привыкшій къ самостоятельному философско-научному анализу, пробавлявшійся готовыми традиционными формами. На мѣсто скептизма являлись фантастическое ханжество и погруженіе въ суевѣрія, вплоть до наивной вѣры въ домовыхъ и лѣшихъ и въ перебѣжавшаго дорогу зайца. Сенсуализмъ смѣнялся суровымъ аскетизмомъ или домостроевскою моралью, а красный задоръ уступалъ мѣсто кичливому самодовольству кривого патриотизма. Карамзинъ такимъ образомъ изъ поклонника Руссо превращался въ приверженца крѣпостного права, свободолюбивый Пушкинъ писалъ *Бородинскую годовщину*, *Клеветникамъ Россіи* и доказывалъ, что русскимъ крѣпостнымъ живется несравненно лучше, чѣмъ англійскимъ рабочимъ. Многие изъ самыхъ смѣлыхъ либераловъ двадцатыхъ годовъ подъ старость сдѣлались святошами или же, возвысившись на лѣстницѣ почестей, обратились въ свирѣпыхъ и безпощадныхъ гонителей малѣйшихъ признаковъ свободомыслія.

V.

Совершенно иное видимъ мы въ философскихъ кружкахъ тридцатыхъ годовъ. Нѣмецкія метафизическія системы, явившіяся въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, имѣли то преимущество, что представляли собою новые процессы свѣжихъ умовъ, сильно возбужденныхъ предшествовавшимъ движеніемъ и устремившихся къ освобожденію отъ средневѣковыхъ традицій. Нѣмецкая метафизика была какъ нельзя болѣе по плечу нашимъ соотечественникамъ, такъ какъ исподоволь освобождая ихъ дѣвственные умы отъ традицій, безъ всякихъ рискованныхъ скачковъ и крутыхъ спусковъ, въ то же время приучала ихъ къ самостоятельной работѣ. Метафизическія системы нельзя было принять въ видѣ определенныхъ афоризмовъ. Надъ однимъ усвоеніемъ ихъ надо было поломать голову. Но и воплотившіе ихъ имѣли дѣло не съ какими-либо готовыми аксіомами и формулами, а, собственно говоря, съ орудіями мысли, посредствомъ которыхъ предполагалось обсуждать и анализировать окружающую жизнь.

Но какъ ни благотворно было это увлеченіе юнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ нѣмецкою философіей, само по себѣ оно было далеко еще не достаточно. Съ одною нѣмецкою философіей умамъ нашихъ передовыхъ людей долго пришлось бы бродить по метафизическимъ лабиринтамъ, и самое большее, чего они могли бы добиться, это—выхода въ концѣ концовъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реального, положительнаго мышленія, обоснованнаго естественно-научными знаніями. Конечно, такой выходъ не замедлил бы открыться подъ вліяніемъ такихъ могучихъ западно-европейскихъ умовъ, каковы Контъ, Милль, Бокль, Дарвинъ и пр., какъ это и произошло на самомъ дѣлѣ въ шестидесятые годы, но во всякомъ случаѣ это движеніе страдало бы крайнею односторонностью. Наши передовые люди сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ, при всѣхъ успѣхахъ ихъ въ общемъ міросозерцаніи, рисковали бы остаться индифферентными въ вопросахъ общественныхъ, что мы и нынѣ замѣчаемъ у нѣкоторыхъ естествоиспытателей и мыслителей Западной Европы.

Но рядомъ съ нѣмецко-философскимъ неотразимо дѣйствовало на юное

поколѣніе сороковыхъ годовъ другое движеніе, господствовавшее преимущественно на французской почвѣ и имѣвшее характеръ исключительно общественный. Это была полная и радикальная переработка тѣхъ рационалистическихъ политическихъ формулъ, какія были завѣщаны XVIII столѣтіемъ. Формулы эти, хотя и представлялись идеально-совершенными и логически-неопровержимыми, тѣмъ не менѣе были крайне отвлеченными, и потому разбились при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью, которая оказалась слишкомъ неподатливою, чтобы сразу уложиться въ нихъ. Розовая мечта XVIII вѣка объ основаніи рациональныхъ общественныхъ связей на свободныхъ договорахъ исчезла, какъ дымъ. Оказалось, что, какіе ни изобрѣтай прекрасные договоры и какъ ихъ ни усовершенствуй, независимо отъ нихъ и часто совершенно вопреки имъ, жизнь продолжаетъ течь въ издревле проложенныхъ руслахъ, слѣпо повинаясь историческимъ традиціямъ.

Это сознаніе, явившееся результатомъ тяжкихъ опытовъ и разочарованій, привело къ убѣжденію, что недостаточно однѣхъ внѣшнихъ реформъ, допускающихъ подѣ блестящею наружною все ту же отжившую ветошь; необходимо, чтобы всѣ общественныя отношенія были переработаны въ основаніяхъ. И вотъ начался самый тщательный, кропотливый анализъ всѣхъ основъ общественной и индивидуальной жизни,—безпощадный, разлагающій, философско-научный анализъ, о которомъ и не мечталъ XVIII вѣкъ. Возникъ рядъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ оказалось тождественно гамлетовскому *быть или не быть*. Таковы были вопросы: дѣтскій—о воспитаніи здороваго и сильнаго поколѣнія; семейный—объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣрія, вмѣсто прежнихъ страха, принужденія и самодурства; женскій—объ освобожденіи женщинъ отъ гражданскаго имущественнаго безправія; а надъ всѣми этими вопросами господствовалъ вопросъ о благосостояніи трудящихся массъ.

Всѣ умы Европы до такой степени были поглощены этими вопросами, что разрѣшенія ихъ начали требовать не только отъ административныхъ сферъ, политическихъ трибунъ, университетскихъ кафедръ и ученыхъ кабинетовъ, но и отъ художественныхъ студій. Требованіе, чтобы искусство участвовало въ общей работѣ вѣка, отвѣчая на всѣ животрепещущіе вопросы жизни, возникло въ Европѣ не въ видѣ отвлеченной и праздною теоріи, принадлежавшей представителямъ юной Германіи или французскимъ романтикамъ школы Виктора Гюго. Оно одновременно возникаетъ во всей Европѣ и прежде всего осуществляется практически, а затѣмъ уже возводится въ теорію тенденціознаго искусства. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите всѣхъ выдающихся писателей XIX вѣка: Шатобриана, Ламартина, Беранже, В. Гюго, Жоржъ Зандъ, Гейне, Гюцкова, Ауэрбаха, Шцильгагена, Байрона, Шелли, Диккенса, Теккерея, Джоржа Эллиота и пр.,—всѣ они являются тенденціозными, и каждое произведеніе ихъ глубоко проникнуто тревожными вопросами вѣка.

VI.

Могло-ли это всеобщее и могучее движеніе, охватившее всю Европу, остаться безъ вліянія на умы нашей интеллигенціи, теперь уже въ до-

статочной мѣрѣ подготовленной философскимъ развитіемъ къ серьезному проникновенію вопросамъ, увлекавшими Европу? Къ тому же наши передовые и мыслящіе люди имѣли ту особенность, что въ то время, какъ въ Европѣ давно уже были рѣшены многіе элементарные вопросы гражданской жизни, и Европа, словно къ стѣнѣ, подошла къ тому роковому вопросу, рѣшеніе котораго зависитъ не отъ ума и воли какихъ бы то ни было гениальныхъ личностей, а отъ трудовъ и усилій многихъ поколѣній, у насъ стояла на очереди масса вопросовъ, вполнѣ элементарныхъ и практически легко осуществимыхъ, каковы вопросы о крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, винныхъ откупахъ и пр.

Философско-научный анализъ при такихъ условіяхъ принялъ въ передовыхъ кружкахъ нашего общества еще болѣе интенсивный, логически-последовательный и вмѣстѣ съ тѣмъ практически-реальный характеръ, чѣмъ на Западѣ. Это въ значительной степени окрыляло энергію и энтузіазмъ нашихъ интеллигентныхъ классовъ. И вотъ началась такая переработка всѣхъ идеаловъ, такое могущественное стремленіе отрѣшиться отъ романтическихъ иллюзій, какими жили тридцатые годы, такое въ то же время горячее проникновеніе идеями народнаго блага, такое искреннее, слезное покаяніе въ вѣковыхъ неправдахъ, лежавшихъ на совѣсти русскаго человѣка, что по-истинѣ ничего подобнаго до сихъ поръ не представляла еще исторія человѣческаго рода.

Все это движеніе и весь этотъ анализъ со всѣми тревожными вопросами, которые были подняты въ сороковые годы, укладываются въ одно слово, вполнѣ опредѣляющее ихъ во всей ихъ сложности и внутреннемъ духѣ. Слово это—демократизація русской мысли или еще точнѣе, проще и опредѣленнѣе—*возвращеніе къ народу*.

И дѣйствительно, слова: *народность, народъ, народное благо, народные идеалы* въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ, и начали употребляться на каждомъ шагу не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а всѣми литературными лагерями. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народные идеалы и по-своему стремился къ нимъ, но во всякомъ случаѣ считалъ это святою обязанностью. Явились даже и такіе писатели, которые безсознательно подчинялись духу времени и невольно выражали въ своихъ произведеніяхъ идеи, которыя волновали ихъ современниковъ, сами не давая себѣ въ этомъ отчета. Въ то же время степенью проникновенія этими идеями начало опредѣляться достоинство писателей: тѣ изъ нихъ, которые оставались чужды общему теченію или шли противъ него умышленно, теряли всякое значеніе и вліяніе, не пользовались ни малѣйшимъ уваженіемъ, или же встрѣчали общее враждебное отношеніе къ себѣ.

При этомъ всеобщемъ увлеченіи вопросами жизни, конечно, не могло быть и рѣчи о чистомъ искусствѣ. Уже въ 1842 году Бѣлинскій торжественно провозгласилъ:

„Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится „птичьимъ пѣніемъ“, создавъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ историческою и философскою дѣятельностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ исповѣданій и поэтическихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь; талантъ имѣеть нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ

масаѣ, для того, чтобы не погаснуть... Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ ея интересы, слить свои стремленія съ ея стремленіями; для этого нужны: симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдѣляетъ убійденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни...“

Изъ тирады этой вы можете ясно видѣть, что дѣло шло вовсе не о подчиненіи литературы какимъ-либо узкимъ партійнымъ тенденціямъ. И свобода творчества, и художественныя требованія оставались неприкосновенными. Бѣлинскій требовалъ лишь, чтобы русская литература была естественно и непроизвольно преисполнена живого, философско-научнаго содержанія, т. е. требовалъ именно того, чего русской литературѣ до той поры недоставало.

Заявленіе подобнаго требованія въ 1842 году мы можемъ считать сигналомъ ко вступленію нашей литературы въ новый періодъ ея развитія. Начались сороковые года, въ которые новое литературное движеніе въ теченіе какихъ-нибудь 7—8 лѣтъ совершило такое быстрое развитіе и такъ послѣдующей реакціи. Въ концѣ сороковыхъ годовъ мы видимъ, что русская мысль окончательно начинаетъ выходить изъ метафизическихъ сумерекъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реализма, что еще болѣе осмысливаетъ и усиливаетъ и анализъ общественной жизни, и проникновеніе народными интересами. Появляется рядъ молодыхъ талантливыхъ беллетристовъ, проникнутыхъ совершенно новымъ духомъ. Публицистика и критика въ свою очередь совершаютъ первыя попытки пойти далѣе по новому пути: являются политико-экономическія статьи В. Милютина въ передовыхъ журналахъ и критическія—В. Майкова. Въ литературныхъ обзорѣніяхъ начинаютъ раздаваться многочисленные возгласы, въ родѣ нижеслѣдующихъ:

„Самое важное характеристическое явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человека занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, повсюдное довольство—вотъ главный вопросъ, волнующая забота нашего вѣка. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ; первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ, и главная задача науки показать законы равномернаго распределенія блага по всѣмъ классамъ, опредѣлить разумныя начала, постоянныя правила общественнаго богатства. При такомъ движеніи ума не остается праздною и неподвижною и критика. Она измѣняетъ свою точку зрѣнія сообразно своему расположенію или неприязни; съ чисто-эстетической арены она ступила въ другія пространства, не отъясняясь одною сферой художественнаго творчества, но имѣя дѣло съ цѣлымъ твореніемъ жизни; вышнѣя себѣ въ обязанность смотрѣть на произведенія словесныя съ той стороны, которую они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ, ея цѣль—оцѣнить литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ.“

Все это вы найдете въ январской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1848 годъ, но уже въ февралѣ журналъ этотъ сразу получаетъ иной характеръ, иное содержаніе. Вышеприведенная тирада была какъ бы предсмертнымъ завѣщаніемъ исходящихъ сороковыхъ годовъ, которое передали они грядущему десятилѣтію. Но не скоро пятидесятымъ годамъ пришлось исполнить это завѣщаніе. Движеніе, такъ быстро и широко раскинувшееся, было сразу парализовано и остановлено на многіе годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I. Общая картина реакціи пятидесятихъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направлений. Кочующіе писатели. Преобладаніе въ журналахъ специальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библиографическихъ изысканій.—II. Сказочная великосвѣтская беллетристика. В. А. Вонлярлярскій. Е. В. Сальясъ де-Турнемиръ. Евд. Як. Панаева (Н. Станицкая). Барышническая полемика.—III. Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятихъ годовъ.—IV. Петербургскіе критики пятидесятихъ годовъ: Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина и Анненкова.—V. Забвеніе всѣхъ завѣтовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.

I.

Послѣ бурнаго 1848 года мрачная реакція безразсвѣтною ночью на многіе годы воцарилась надъ Европой и въ особенности надъ Россіей. Въ то время, какъ въ Европѣ реакція эта была прямымъ результатомъ разочарованія въ возможности сразу переработать жизнь на тѣхъ разумныхъ и справедливыхъ основаніяхъ, о которыхъ мечтали въ продолженіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ,—въ Россіи, гдѣ никакихъ попытокъ къ подобной переработкѣ не предпринималось, реакція получила характеръ слѣпотаго ретроградства и панической свѣтобоязни, которая въ каждой самостоятельной и свѣжей мысли начала подозрѣвать опасное покушеніе на разрушеніе всѣхъ основъ.

Такъ какъ мы имѣемъ дѣло съ исторіею не Россіи вообще, а лишь литературнаго движенія ея, то намъ не для чего останавливаться на всѣхъ подробностяхъ этой реакціи, и мы считаемъ достаточнымъ ограничиться однѣми общими и крупными чертами, необходимыми для уясненія характера, который приняла въ это время литература.

Это было гоненіе не на какую-либо партію, а на мысль вообще, на всякое движеніе ея. Кромѣ официально утвержденныхъ идей и понятій, все остальное отрицалось огуломъ и безъ разбора. Съ этою цѣлью были закрыты философскія кафедры во всѣхъ университетахъ, остальные предметы были подвергнуты самому строгому контролю, причемъ отъ профессоровъ начали требовать не только, чтобы они ни слова не произносили сверхъ установленныхъ программъ, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ были самими усердными проводниками официальныхъ идей и взглядовъ. Въ то же время было крайне ограничено и доведено до послѣдняго минимума число учащихся въ университетахъ.

Надъ литературою нависла цѣлая сѣть цензуръ. Кромѣ общихъ цензурныхъ комитетовъ, каждое министерство цензило статьи, касающіяся предметовъ его вѣдѣнія. А надъ всѣми этими цензурами возвышался грозный бутурлинскій комитетъ, который наблюдалъ за дѣйствіями всѣхъ прочихъ цензуръ и каралъ не только новыя прегрѣшенія, но и инквизиторски изслѣдовалъ старыя, совершенныя Богъ вѣсть когда, въ опасеніи, какъ бы не были допущены новыя изданія вредныхъ книгъ, давно уже пропущенныхъ цензорами, и въ прежніе годы не отличавшимися снисходительностью.

Сдавленная въ самыхъ тѣсныхъ тискахъ этихъ цензуръ, обязанныхъ, не ограничиваясь явнымъ смысломъ статей, проникать въ тайныя намѣренія авторовъ и докладывать объ этихъ намѣреніяхъ высшему начальству, литература сразу утратила богатое идейное содержаніе, какое мы видѣли въ концѣ сороковыхъ годовъ, совершенно обезцвѣтилась и обезличилась. Словно по какой-то безопадно-злой ироніи судьбы, едва было провозглашено на страницахъ журналовъ, что первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ и что критика должна оцѣнивать литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ, именно общественныхъ-то вопросовъ и было запрещено касаться литературѣ, хотя бы мелькомъ и косвенно. Дошло до того, что не допускали не только критическаго отношенія къ общественнымъ порядкамъ или правительственнымъ распоряженіямъ, но не позволяли толковать обо всемъ этомъ хотя бы въ самомъ одобрительномъ и хвалебномъ духѣ.

Это безусловное запрещеніе публицистики особенно сильно отразилось на газетной прессѣ, которая едва влачила существованіе въ видѣ жалкихъ сѣренькихъ листочковъ *Сѣверной Пчелы* Ѳ. Булгарина, *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* Очкина, *Полицейскихъ Вѣдомостей*, *Русскаго Инвалида* и *Московскихъ Вѣдомостей* Захарова. Газеты выходили безъ передовыхъ статей и политическихъ корреспонденцій, довольствуясь сообщеніемъ опубликованныхъ правительственныхъ распоряженій, безцвѣтными фельетонами, трактующими о кондитерскихъ гуляніяхъ, и извѣстіями объ экстраординарныхъ случаяхъ обыденной жизни, въ родѣ бабы, разрѣшившейся тройнями.

Столь же измѣнились и журналы—и *Отечественныя Записки* Краевскаго, и *Современникъ* Некрасова, *Библиотека для Чтенія* Сенковскаго и славянофильскій *Москвитянинъ*, и пр. Въ предыдущей главѣ мы указали, какъ на одну изъ существенныхъ особенностей новаго періода литературы, на образованіе литературныхъ лагерей и требованіе отъ журналовъ направленія. Но въ пятидесятые года журналы вновь принимаютъ характеръ безцвѣтныхъ и безхарактерныхъ сборниковъ, ничѣмъ почти не отличаясь одинъ отъ другого, тѣмъ болѣе, что многіе изъ сотрудниковъ являются у нихъ общіе. Прежде всего, конечно, беллетристы и поэты: Григоровичъ, Писемскій, Потѣхинъ, Полонскій, Фетъ, Щербина и пр. начали печататься разомъ во всѣхъ органахъ, не обнаруживая ни малѣйшаго пристрастія ни къ одному изъ нихъ. Но не одни беллетристы и поэты, всегда отличавшіеся до извѣстной степени индифферентизмомъ къ журнальнымъ направленіямъ, перекочевывали изъ одного журнала въ другой,—примѣру ихъ слѣдовали и критики, несмотря на то, что, по самой профессіи своей, являясь представителями того или другого литературнаго лагеря, они должны были бы сосредоточивать свою дѣятельность въ одномъ какомъ-либо органѣ; такъ, мы видимъ, что выдающіеся критики того времени: Дружининъ, Анненковъ, Ап. Григорьевъ—постоянно кочуютъ изъ одного органа въ другой или же участвуютъ разомъ въ нѣсколькихъ.

Приведеніе всѣхъ органовъ печати къ уровню безцвѣтныхъ сборниковъ зависѣло, конечно, прежде всего отъ удаленія съ литературной арены наиболѣе выдававшихся и сильныхъ мыслію и талантами дѣятелей, которые стояли во главѣ движенія сороковыхъ годовъ. Бѣлинскій лежалъ въ могилѣ, и самое имя его не допускала цензура упоминать въ печати; Герценъ былъ

ожидать чего-либо солиднаго и дѣльнаго отъ такого рода дилетантскаго творчества. Тѣмъ не менѣе большимъ успѣхомъ пользовались въ свое время такіе романы его, какъ: *Силуэтъ*, *Ночь на 38-е сентября*, *Магистръ*, *Двѣ сестры*, *Сосѣдъ*, *Большая барыня* и масса мелкихъ вещей, которыя печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Современникъ*, въ *Библиотекъ для Чтенія* и пр. Но такова была легковѣсность всѣхъ этихъ произведеній, что отъ нихъ, какъ отъ блестящаго фейерверка, не осталось и слѣда, и въ настоящее время врядъ ли отыщется грамотный человѣкъ, который былъ бы знакомъ хотя бы съ однимъ романомъ Вонлярлярскаго.

Усердною поставщицею великосвѣтскихъ романовъ была также, пользовавшаяся большою популярностію въ теченіе всѣхъ пятидесятихъ годовъ, графиня Елизавета Васильевна Сальясъ-де-Турнемиръ, болѣе извѣстная въ литературѣ подъ псевдонимомъ *Евгеніи Туръ*. Она родилась въ Москвѣ 12-го авг. 1815 г. и была одною изъ дочерей генерала В. Сухова-Кобылина. Воспитаніе ея, хотя и домашнее, было блестяще. Въ совершенствѣ изучила она, подъ руководствомъ опытныхъ гувернантокъ, иностранные языки, а научное образованіе было ввѣрено извѣстнымъ московскимъ педагогамъ: исторію преподавалъ ей проф. Ѳ. Л. Моршкинъ, литературу — поэтъ С. Э. Райчъ, физику — проф. М. А. Максимовичъ. Домъ Сухова-Кобылиныхъ въ тридцатые года представлялъ собою одинъ изъ интеллигентныхъ салоновъ, куда въ опредѣленные дни собирались писатели и профессора Московскаго университета. Тамъ, между прочимъ, часто присутствовалъ Н. И. Надеждинъ. Среди этихъ представителей русской науки и литературы постоянно находилась молодая Сухова-Кобылина, пока не уѣхала съ родными за границу, гдѣ вышла замужъ за французскаго графа Сальясъ-де-Турнемиръ.

По возвращеніи въ Россію въ концѣ сороковыхъ годовъ, она выступила на литературное поприще, подъ псевдонимомъ *Евгеніи Туръ*, повѣстью *Ошибка*, напечатанною въ *Современникъ* 1849 г., № 10. Затѣмъ послѣдовалъ романъ *Племянница*, повѣсти: *Очагъ*, *Первое апрѣля*, *Двѣ сестры*, *Чужая душа потемки*, романъ *Три поры жизни*, повѣсти: *Заколдованный кругъ*, *Старушка*, *На рубежѣ*.

Повѣстью *На рубежѣ*, напечатанною въ *Русскомъ Вѣстникъ* 1857 г. кн. 20, заканчивается беллетристическая дѣятельность Евг. Туръ. Съ 1856 года она приняла дѣятельное участіе въ редакціи *Русскаго Вѣстника*, гдѣ она завѣдывала отдѣломъ беллетристики, и въ то же время начала помѣщать въ *Русскомъ* же *Вѣстникъ* рядъ критическихъ и биографическихъ этюдовъ, посвященныхъ жизни или произведеніямъ иностранныхъ писателей. — Въ 1861-1862 годахъ Евг. Туръ была издательницею своего собственнаго журнала *Русская Рѣчь*, по прекращеніи котораго перенесла свою дѣятельность въ петербургскія изданія. Послѣдній же періодъ ея жизни былъ посвященъ дѣтской литературѣ. Изъ дѣтскихъ книгъ ея особеннымъ успѣхомъ пользуются: *Катакомбы*, повѣсть изъ первыхъ временъ христіанства, сказки: *Жемчужное озерелье*, *Хрустальное сердце*, *Мученики Коллизея*. Она умерла 15-го марта 1892 года въ Варшавѣ и похоронена въ Вихоновой пустыни, близъ Калуги.

Примѣру Евгеніи Туръ послѣдовала извѣстная поэтесса сороковыхъ годовъ, графиня Евг. И. Растопчина (род. 1811 г., умерла 1858 г.). Переживъ свою поэтическую славу, она, въ свою очередь, принялась за романъ

изъ великосвѣтской жизни, и въ теченіе 50-тихъ годовъ они помѣ-
лись въ различныхъ журналахъ. Изъ нихъ особенно выдаются романы:
Счастливая женщина, напечатанный въ *Москвитянинѣ* въ 1851 году, и
У пристани, появившійся въ *Библиотекѣ для дачъ* въ 1857 г. и жестоко
осмѣянный Добролюбовымъ.

До какой степени обширные романы съ сказочными темами были въ
то время въ модѣ, мы можемъ судить по тому, что не только въ *Отече-
ственныхъ Запискахъ*, гдѣ, вѣдѣ за романами Вонлярлярскаго, нѣсколько
лѣтъ тянулся безконечный романъ В. Р. Зотова *Старый домъ*, дѣйствіе
котораго, начинаясь съ петровскихъ временъ, черезъ рядъ поколѣній
постепенно достигаетъ современности, но и *Современникъ* не могъ обойтись
безъ подобнаго же рода лубяной беллетристики. Прискорбнѣе всего то,
что поставщикомъ ея явился самъ издатель—Н. А. Некрасовъ, приняв-
шійся за стряпню ея въ сотрудничествѣ съ писательницею, выступив-
шею на литературное поприще въ 1848 году, подъ псевдонимомъ Н. Станиц-
кой, повѣстью *Семейство Гальниковыхъ*, которая обнаруживала въ авторѣ
Брянскаго, супруга соиздателя *Современника*, Авдотью Яковлевна Панаева,
а впоследствии Головачева.—Въ теченіе пятидесятихъ годовъ, въ сотру-
дничествѣ съ Некрасовымъ, были написаны ею два громадные романа:
Три страны свѣта и *Мертвое озеро*. Напечатанные въ *Современникѣ*,
романы эти читались съ большимъ интересомъ любителями сказочной бел-
летристики, но конечно послужили не къ развитію, а къ гибели моло-
дого и свѣжаго таланта Н. Станицкой.

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить еще одну особенность журналистики того
времени: журналы, утратившіе почти всякое различіе одинъ отъ другого,
сплошь наполненные сухими, квази-научными статьями и безконечными
сказочными романами, лишенные всякой возможности проводить какое бы
то ни было направленіе, тѣмъ не менѣе вели между собою ожесточенную
полемику, при чемъ особенная вражда господствовала между *Отечествен-
ными Записками* и *Современникомъ*, равно какъ между петербургскими
органами въ качествѣ западниковъ и *Москвитяниномъ*, выразителемъ
славянофильскаго лагеря. Но вся эта полемика не имѣла и тѣни идейнаго
содержанія. Это было одно безсодержательное зубоскальство и хихиканье,
полное слѣпото прирастятія и беззащитно-открытаго барышничества.
Все дѣло заключалось въ томъ, чтобы переманить другъ отъ друга подписчи-
ковъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени *осенній походъ*,
заключавшійся въ томъ, что около подписныхъ мѣсяцевъ каждый журналъ
начиналъ пересмѣивать недостатки своего соперника и выставять свои
преимущества, при чемъ выставялись на видъ такія погрѣшности против-
никовъ, какъ неправильныя выраженія, плохой переводъ, опечатки и т. п.

III.

Но было бы ошибочно предполагать, что измѣльчаніе литературы зави-
сѣло исключительно отъ однихъ цензурныхъ условій. Въ самомъ обществѣ
было достаточное количество реакціонныхъ элементовъ, и когда люди, силь-
ные духомъ, смѣлые и послѣдовательные мыслями, сошли съ литературнаго

ища, литературу заповилили особеннаго рода оппортунисты, словно далеко созданные реакціей для того уровня, къ которому была приведена журналистика. Оппортунисты эти не только не тяготились тяжелымъ положеніемъ печати, а, напротивъ того, какъ сыръ въ маслѣ, катались при установившихся порядкахъ; въ послѣдовавшемъ же движеніи литературы и мысли представляли собою не малый тормазъ. Это были люди, пропитанные до мозга костей духомъ петербургскаго бюрократизма. Повидимому они представляли изъ себя безукоризненно передовыхъ прогрессистовъ и либераловъ, западниковъ, гонявшихся за послѣднимъ словомъ европейской цивилизаціи, и реалистовъ, ратовавшихъ за трезвую мысль, основанную на положительныхъ началахъ. Но либерализмъ ихъ не шелъ далѣе поверхностнаго англоманства; увлеченіе западнымъ прогрессомъ—далѣе восхищенія чудесами европейской промышленности въ видѣ желѣзныхъ дорогъ, электрическихъ телеграфовъ и сельско-хозяйственныхъ машинъ; реализмъ ихъ вполне осуществлялся въ практической философіи дядюшки Адуева, въ отрицаніи на ряду съ романтическими фантазіями и порывами какихъ бы то ни было безкорыстныхъ увлеченій. Весь идеалъ ихъ заключался въ умѣннѣ къ 50-ти годамъ нажить кругленькій капиталчикъ, въ комфортѣ, умѣренности, аккуратности и солидности во всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ и чопорной великосвѣтскости, а иногда и хлыщеватаго дэндизма подъ личиною развитія чувства изящнаго. Идеалъ этотъ вы можете встрѣтить въ массѣ беллетристическихъ произведеній того времени, въ видѣ тщеславящагося своею честностью администратора, неподкупнаго ревизора и слѣдователя во фракѣ съ иглочки, съ безукоризненно-свѣтскими, изящными манерами и нѣжнымъ сердцемъ, склоннымъ пылать неизмѣнною страстью. Но и въ самомъ разгарѣ ея подобный герой оказывался неспособенъ выйти изъ границъ великосвѣтской чопорности и допустить какой-нибудь необузданный порывъ. Таковъ, на примѣръ, герой повѣсти Дружинина *Поленька Саксъ*.

„Часто думаю я,—говорить о немъ героиня,—любить ли кого-нибудь этотъ человекъ? Ни до свадьбы, ни послѣ не сказалъ онъ мнѣ открыто, что онъ хоть сколько-нибудь въ меня влюбленъ. „Любовь моя не на словахъ, а въ жизни“,—говаривалъ онъ нѣсколько разъ. Чтобы онъ сталъ цѣловать мои руки, чтобы онъ становился на колѣни... si donc—отъ этого изомнется рубашка на груди, запачкается платье. Является онъ ко мнѣ не иначе, какъ во фракѣ или сюртукѣ,—tiré a quatre épingles,—верхъ дерзости, если онъ осмѣлится надѣть лѣтнее пальто, вмѣсто фрака!“

Еще ниже въ той же повѣсти мы видимъ, что Константинъ Саксъ даже и такія служебныя обязанности, которыя вовсе не требуютъ парада, исполняетъ не иначе, какъ во фракѣ (и конечно ужъ и въ бѣломъ галстукѣ, прибавимъ мы отъ себя), заставляя просителей и подчиненныхъ подолгу дожидаться, пока онъ совершаетъ свою туалетъ.

Вотъ этой-то средѣ бюрократическаго оппортунизма и обязана была журналистика пятидесятихъ годовъ и педантически-сухою ученостью, и библиографическою мелочностью, и безъидейностью. Литературы подобнаго рода увлекались въ своей дѣятельности единственнымъ побужденіемъ составить литературную карьеру и побольше написать, чтобы побольше получить.

Въ предыдущей главѣ мы говорили, что въ основѣ новаго литературнаго періода лежала идея возвращенія къ народу, демократизація русской мысли и жизни. Все это было предано полному забвенію оппортунистами *

съ ихъ узко-буржуазными и бюрократическими идеалами. Между тѣмъ они господствовали въ петербургской литературѣ, давали тонъ всему и были главными судьями новой беллетристической школы, и если только не со- вратили съ пути, на который направилъ ее Вѣлинскій, то благодаря лишь тому, что среди нихъ не было ни одного критика настолько талантливаго, чтобы онъ могъ подчинить беллетристовъ своему влиянію. Но если критики, созданные петербургскою литературною средой того времени, и не отличались ни сильными талантами, ни влияніемъ, тѣмъ не менѣе они представляютъ такой своеобразный характеръ, что мы считаемъ не лишнимъ закончить эту главу ознакомленіемъ съ ихъ взглядами и критическими критеріумами.

IV.

Наиболѣе сильнымъ авторитетомъ въ то время въ критикѣ петербургскихъ журналовъ пользовались Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ.

А. В. Дружининъ родился въ 1825 г. и воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, откуда былъ выпущенъ въ лейбъ-гвардіи финляндскій полкъ прапорщикомъ. Съ 1847 г. онъ служилъ въ канцеляріи военного министра, а въ 1851 г. вышелъ въ отставку. Первая повѣсть его, обратившая на себя общее вниманіе, — *Поленька Саксъ*, была напечатана въ № 12 *Современника* 1847 г. Затѣмъ потянулся въ *Современникъ* рядъ его рассказовъ, каковы: *Рассказъ Алексѣя Дмитриевича*, *Повѣсть Жюля*, *Докторъ и пациентъ* и пр. Одновременно съ этимъ Дружининъ приступилъ къ печатанію галлерей замѣчательныхъ романовъ старыхъ и новыхъ временъ съ біографическими свѣдѣніями объ авторахъ и выступилъ въ *Современникъ* въ качествѣ фельетониста, подъ псевдонимомъ Ивана Чернокушниковъ. Подъ тѣмъ же псевдонимомъ онъ писалъ впоследствии въ *Библіотекъ для Чтенія* и *Вѣкъ*.

Въ *Библіотекъ для Чтенія* Дружининъ помѣстилъ въ 1851—52 гг. рядъ статей подъ заглавіемъ *Джонсонъ и Босвелъ, Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка*. Въ *Современникъ* въ продолженіе всей первой половины пятидесятихъ годовъ онъ велъ критическій фельетонъ подъ заглавіемъ *Письма иногороднаго подписчика о русской журналистикѣ*, а съ появленіемъ съ 1856 года въ *Современникъ* новыхъ сотрудниковъ тѣ же фельетоны онъ перенесъ въ *Библіотеку для Чтенія*, гдѣ съ тѣхъ поръ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и редакторомъ. Изъ прочихъ трудовъ его замѣчательны: переводъ трагедій Шекспира: *Король Лиръ*, *Коріоланъ* и *Ричардъ III*, статьи его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1861—1862 гг.: *Изъ дневника мирового посредника*, подъ псевдонимомъ Везвѣстнаго.

Въ 1859 г. Дружининъ ознаменовалъ свою жизнь инициативою вопроса объ основаніи «Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ» и принималъ горячее участіе въ учрежденіи его. Неумолимая дѣятельность, подточивъ его силы, привела его къ преждевременной смерти; въ исходѣ 1863 г. онъ слегъ, а 10-го января 1864 г. умеръ въ Петербургѣ отъ чахотки на 39 году жизни.

Павелъ Васильевичъ Анненковъ родился въ Москвѣ 19-го іюня 1813 года. Отецъ его былъ богатый помѣщикъ Симбирской губерніи. Учился онъ сначала въ Горномъ Институтѣ, гдѣ дошелъ до специальныхъ классовъ; затѣмъ долгое время былъ вольнослушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. онъ поступилъ было въ канцелярію министерства финансовъ, но вскорѣ бросилъ



А. В. Дружининъ.

службу и въ 1840 г. уѣхалъ за границу, откуда началъ присылать письма, которыя печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1840—42 гг. Сороковые годы онъ проводилъ по большей части за границей, рѣдко наѣзжалъ въ Россію и ограничивался нѣсколькими посредственными разсказами и корреспонденціями. Въ пятидесятыхъ годахъ литературная дѣятельность Анненкова принимаетъ характеръ болѣе энергическій: онъ выдвигается на первый планъ и, до половины шестидесятыхъ годовъ, занимаетъ мѣсто перваго критика рядомъ съ А. В. Дружининымъ. Но особенно прославился онъ

какъ библиографъ, и по этой отрасли оставилъ по себѣ весьма почтенную память такими трудами, какъ полное собраніе сочиненій Пушкина съ *материалами* для біографіи его въ 1856 году, и изданіемъ переписки и біографіи Станкевича въ 1867 г.

Одновременно съ этимъ помѣщались въ различныхъ журналахъ критическіе этюды, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны слѣдующіе: *И. С. Тур-*



И. В. Анненковъ.

геновъ и Л. Н. Толстой (1854 г.), *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности* (1855 г.), С. Т. Аксаковъ и его *«Семейная хроника»* (1856 г.), *Литературный шикъ слабого человека по поводу «Аси» Тургенева* (1858 г.), *Дѣловой романъ въ нашей литературѣ: «Тысяча Душъ», романъ А. Писемскаго* (1859 г.), *Наше общество въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» Тургенева* (1859 г.), *«Гроза» Островскаго и критическая буря* (1860 г.), и проч.

Послѣднія 20 лѣтъ своей жизни Анненковъ проживалъ большею частью за границей, лишь изрѣдка наѣзжая въ Россію. Наиболѣе замѣчательными его трудами этого періода представляются его воспоминанія о движеніи

русской мысли и литературныхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ, который онъ печаталъ на страницахъ *Вѣстника Европы*, таковы: *Замѣчательное десятилѣтїе*, *Идеалисты 30-хъ годовъ*, *Молодость И. С. Тургенева*, *Художникъ и простой человекъ* (А. О. Писемскій), и проч.

Умеръ Анненковъ 8-го марта 1887 г. въ Дрезденѣ. Читая статьи и фельетоны этихъ критиковъ, особенно Дружинина, тщетно вы будете искать въ нихъ какіе-либо руководящіе принципы и критеріи; между тѣмъ, еще разъ повторяемъ, статьи эти имѣютъ вполне опредѣленный своеобразный характеръ, благодаря которому онѣ должны были очень нравиться петербургскимъ бюрократическимъ оппортунистамъ, представителями которыхъ являлись они въ литературѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: представьте себѣ петербургскаго либеральнаго администратора, который вечеромъ, въ свободный часъ отъ служебныхъ обязанностей и преферансной пульки, въ комфортабельномъ кабинетѣ, полулежа у пылающаго камина, занимался перелистываніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и пробѣгалъ беллетристическія новости. Изъ каждой прочитанной повѣсти онъ выносилъ свои сужденія, не лишеныя иногда остроумія и мѣткости, и здраваго смысла. Но развѣ эти сужденія касались внутренняго смысла, который таился въ прочитанномъ произведеніи, духа, который его проникалъ? Ничуть не бывало: вся критика ограничивалась замѣчаніями о выдержанности или невыдержанности характера героя, сѣтованіями на недостатокъ внѣшней занимательности, чѣмъ такъ отличаются французскіе романисты и до чего русскимъ далеко, или же насмѣшками надъ претензіей беллетриста выводить свѣтскихъ людей, не имѣя ни малѣйшаго понятія объ истинной свѣтскости, и т. п. Именно подобнаго рода сужденіями отличаются критическія статьи и фельетоны того времени, и особенно Дружинина.

Возьмемъ для примѣра двѣ-три выдержки. Въ 1850 году была напечатана въ апрѣльской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* повѣсть Тургенева *Дневникъ лишняго человека*. Казалось бы, на какія серьезныя и важныя размышленія должна была вызвать мало-мальски живого критика эта повѣсть въ общемъ мрачномъ колоритѣ того времени, и вдругъ мы читаемъ слѣдующій отзывъ Дружинина въ его четырнадцатомъ письмѣ:

„Повѣсть эта принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ автора *Записокъ Охотника*. Это одна изъ тѣхъ повѣстей, которыя никогда не дочитываются до конца и о которыхъ два-три любителя выражаются съ глубокомысленнымъ видомъ: „это собственно не повѣсть, а психологическое развитіе“. Г. Тургеневъ слишкомъ уменъ, чтобы написать вещь совершенно скучную, и человекъ, со вниманіемъ прочитавшій его послѣднее произведеніе, найдетъ въ немъ нѣсколько мыслей, живописныхъ описаній, но не болѣе. Мы въ послѣднее время такъ уже привыкли къ психологическимъ развитіямъ, къ разсказамъ „темныхъ“, „праздныхъ“, „лишнихъ“ людей, къ запискамъ мечтателей и ипохондриковъ, мы такъ часто съ разными болѣе или менѣе искусными чувелистами заглядывали въ душу героевъ больныхъ, робкихъ, загнанныхъ, огорченныхъ, вялыхъ, что наши потребности совершенно измѣнились. Мы не хотимъ тоски, не желаемъ произведеній, основанныхъ на болѣзненномъ настроеніи духа; если бы самъ авторъ *Обермана* воскресъ и написалъ намъ новый романъ въ этомъ родѣ, сомнѣваюсь, чтобы такой романъ былъ дочитанъ до конца... даже до конца первой главы. Г. Тургеневъ, владѣя замѣчательною способностью къ психологическому анализу, любить подмѣчать въ каждомъ изъ своихъ героевъ стороны слабыя, раздражительныя, болѣзненныя. Эта особенность, употребленная въ мѣру, помогла ему обрисовать прекрасный характеръ Вилицкаго въ *Холостякѣ* и очень эффектно проявилась въ одномъ изъ *Разсказовъ Охотника*, если не ошибаюсь, въ *Гамлетѣ Широваго узда*. *Дневникъ лишняго человека* построенъ весь на этой особенности, и оттого повѣсть слаба, утомительна“.

Затѣмъ, разсказавъ содержаніе повѣсти, Дружининъ приходитъ къ слѣдующему выводу:

„Прочитавъ съ довольно унылымъ чувствомъ повѣсть г. Тургенева, я задумался надъ этою повѣстью одного изъ любимыхъ моихъ писателей. Мнѣ захотѣлось разгадать одну изъ главныхъ причинъ той мелочности, въ которую впала наша беллетристика за послѣднія пять или шесть лѣтъ,—мелочности, непонятной въ то самое время, когда наша ученая словесность быстро движется впередъ и когда каждый изъ русскихъ журналовъ каждый мѣсяцъ представляетъ своимъ читателямъ по одной, по двѣ замѣчательныхъ статей серьезнаго содержанія (sic). Думая о причинахъ этой мелочности, я пришелъ къ двумъ убѣжденіямъ: первое, что сатирическій элементъ, какъ бы блистателенъ онъ ни былъ, не способенъ быть преобладающимъ элементомъ въ изящной словесности, и второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами изъ современной жизни“.

Дикость такихъ сужденій не должна насъ удивлять: всѣ петербургскіе администраторы того времени, начиная съ надворныхъ и кончая дѣйствительными тайными совѣтниками, повторяли буквально тѣ же изреченія: и что надобли имъ всѣ эти апохондрики въ нашей беллетристикѣ, и что мы не хотимъ тоски, и что беллетристика измельчала, и что причина этому—преобладаніе сатиры и погоня за современными сюжетами, и т. п.

Въ томъ же году въ № 21 *Москвитянина* была напечатана не менѣе многозначительная повѣсть Писемскаго *Тюфякъ*. Къ этой повѣсти Дружининъ отнесся гораздо благосклоннѣе, при чемъ особенно понравился ему языкъ дѣйствующихъ лицъ, обладающій, по его мнѣнію, «той бойкостью и оригинальностью, которая такъ очаровательна въ романахъ г. Вельмана». Въ заключеніе же довольно поверхностнаго и казеннаго разбора Дружининъ замѣчаетъ вдругъ, на этотъ разъ въ угоду даже не самимъ надворнымъ совѣтникамъ, а ихъ женамъ и дочерямъ, что въ повѣсти Писемскаго мало вѣршней занимательности, и это онъ ставитъ въ вину автору. «Беллетристу, — говоритъ онъ, — какъ бы талантливъ онъ ни былъ, нечего бѣгать отъ живыхъ сценъ, движенія, даже таинственности и эффектовъ: онъ пишетъ не для однихъ дилетантовъ, уже охлажденных къ романамъ и при чтеніи занимательнаго разсказа говорящихъ: «лучше «Монте-Кристо» не выдумаешь, любезный другъ!» и т. д.

V.

Однимъ словомъ, всѣ великіе завѣты Бѣлинскаго были забыты. Точно какъ будто этихъ самыхъ будущихъ критиковъ, своихъ преемниковъ, подразумѣвалъ Бѣлинскій, когда въ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ заставилъ изнѣженнаго сибарита съ пренебреженіемъ бросить книгу, заключающую въ себѣ повѣсть въ духѣ натуральной школы, и воскликнуть: «Книга должна пріятно развлекать; я безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!»— «Такъ, — отвѣчаетъ Бѣлинскій на это восклицаніе, — милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны гнать, и бѣдный забывать свое горе, голодный—свой голодь, стоны, страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ».

Эти пророческія слова Бѣлинскаго исполнились буква въ букву: критики-сибариты, о которыхъ мы говоримъ, не замедлили воздвигнуть цѣлый походъ противъ натуральной школы и создали особенный культъ поэзіи Пушкина, не ради величія этой поэзіи, самой по себѣ, и неопытенныхъ заслугъ Пушкина, а въ видѣ противодѣйствія гоголевскому вліянію, какъ

заявили они въ своихъ статьяхъ, съ цѣлью возвращенія нашей литературы къ свѣтлому взгляду на жизнь и дѣйствительность.

Такъ Дружининъ, въ своей статьѣ по поводу изданія сочиненій Пушкина, въ *Библиотекѣ для Чтенія* въ 1858 году, между прочимъ, говоритъ:

„Одинъ изъ современныхъ литераторовъ выразился очень хорошо, говоря о сущности дарованія Александра Сергѣевича. „Если бы Пушкинъ прожилъ до нашего времени,—выразился онъ,—его творенія составили бы противодѣйствіе гоголевскому направленію, которое, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, нуждается въ такомъ противодѣйствіи“. Отзывъ совершенно справедливый и весьма примѣнимый къ дѣлу. И въ настоящее время, и черезъ столько лѣтъ послѣ смерти Пушкина, его творенія должны сдѣлать свое дѣло. Изучая прозу Пушкина, его *Оптика*, гдѣ изображенъ всеневный бытъ нашъ какъ городской, такъ и деревенскій, его стихотворенія, вышесказанные сельскими картинками, сельскимъ бытомъ, мы придемъ къ началу того, противодѣйствія той реакціи, которая такъ нужна въ текущей словесности. Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не къ холоднымъ его читателямъ), нельзя всей словесности жить на однихъ *Мертвыхъ Душахъ*. Намъ нужна поэзія. Поэзія мало въ постводателяхъ Гоголя, поэзія нѣтъ въ излишне-реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Спажемъ нашу мысль безъ обиняковъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ. Противъ такого сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю, поэзія Пушкина можетъ служить лучшимъ орудіемъ. Она наша проясняется, дышаніе становится свободнымъ: мы переносимся изъ одного міра въ другой, отъ искусственнаго освѣщенія къ простому дневному свѣту, который лучше всякаго яркаго освѣщенія, хотя и освѣщеніе въ свое время имѣетъ свою пріятность. Предъ нами тотъ же бытъ, тѣ же люди, но какъ все это глядитъ тихо, спокойно и радостно!“

Отъ требованій, чтобы искусство тихо, спокойно и радостно смотрѣло на жизнь, одинъ шагъ до теорій чистаго искусства, а разъ наши критики-оппортунисты встали на эту почву, имъ только и оставалось—мало того, что забыть всѣ завѣты Вѣлинскаго, но придти къ полному его отрицанію, и они не замедлили вступить на этотъ путь, причемъ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ оказался Дружининъ, который въ своей статьѣ *«Очерки изъ крестьянскаго быта А. О. Писемскаго»* въ *Библиотекѣ для Чтенія* 1856 года прямо отрицаетъ критику Вѣлинскаго и указываетъ даже на вредное ея вліяніе.

„Большая часть пишущихъ людей,—говоритъ онъ,—понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія. Потому-то даже годы подлаго торжества дидактической критики принесли нашему искусству вредъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Критика сороковыхъ годовъ скорѣе мѣшала развитію писателей существующихъ, нежели содѣйствовала къ появленію новыхъ писателей-дидактиковъ. На литераторовъ, уже составившихъ себѣ имя и вновь появляющихся, критика Вѣлинскаго налагала стѣнительныя узды, но художниковъ, собственно созданныхъ ею, она не имѣла. Своихъ поэтовъ, своихъ литературныхъ адептовъ она не создала; эти послѣдніе, побѣгавшіе самое короткое время на дидактической кордѣ, исчезли съ лица земли и гибли вслѣдствіе своего собственного безсилія. Всюду кипѣли свѣжія, молодые силы, всюду являлось сдержанное противорѣчіе узкимъ дидактическимъ требованіямъ господствующей критики. Чуть замолкъ голосъ Вѣлинскаго, чуть его поэтическое слово перестало служить самымъ непоэтическимъ изъ всѣхъ цѣлей, въ ряду русскихъ критиковъ даже не нашлось человека, желающаго продолжать его дѣло. При всемъ уваженіи къ критикѣ гоголевскаго періода, при всей личной симпатіи къ ея главнымъ дѣятелямъ, каждый поэтъ и каждый прозаикъ, воспитанный на ея теоріяхъ, почувствовалъ, что, наконецъ, пришло время отрѣшиться отъ всей мертвенной, рутинной стороны сказанныхъ теорій. Несмотря на полное господство дидактическихъ преданій въ искусствѣ, движеніе нашей изящной словесности шло шире и всестороннѣе.“

Трудно представить себѣ большее извращеніе всѣхъ историко-литературныхъ данныхъ. Вѣлинскій, всегда ратовавшій противъ дидактизма въ искусствѣ и требовавшій отъ писателей лишь живого, естественнаго проникновенія общественными вопросами, попалъ вдругъ въ дидактики; оказалось, что онъ не создалъ ни одного писателя, а тѣ, которые подчина-

лись его требоаніямъ, исчезали и гибли вслѣдствіе своего безсилія. Вотъ до чего договорились критики-оппортунисты! Замѣчательно, что подобный походъ противъ завѣтовъ Бѣлинскаго имѣлъ мѣсто не на однихъ страницахъ *Библиотеки для Чтенія*, гдѣ онъ былъ умѣстенъ, сообразно традиціямъ того журнала, всегда ратовавшаго противъ критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Не уступалъ въ этомъ отношеніи и *Современникъ*, и около того же времени, именно въ 1855 году, въ немъ была помѣщена критическая статья П. В. Анненкова: *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности*, въ которой Анненковъ въ свою очередь весьма рѣзительно возсталъ противъ требованія отъ изящныхъ произведеній мысли, поученія. Постоянныя хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщаютъ, по его мнѣнію, педагогическій характеръ изящной литературѣ вообще, какъ это мы видимъ не только въ нашемъ прошломъ, но и въ настоящемъ.

„Съ одной стороны, говоритъ Анненковъ,—кругъ дѣйствія литературы отъ этого, можетъ быть, и расширяется, но, съ другой стороны, онъ утрачиваетъ большую часть самыхъ дорогихъ и существенныхъ качествъ своихъ—свѣжесть пониманія явленій, простодушіе во взглядѣ на предметы, смѣлость обращенія съ ними. Тамъ, гдѣ опредѣляется относительное достоинство произведеній по количеству мысли и цѣнность его по вѣсу и качеству идеи, тамъ рѣдко является близкое созерцаніе природы и характеровъ, а всегда почти философствованіе и нѣкоторое лукавство. Не говоримъ уже о томъ, что на основаніи *мысли* легко быть судьей литературнаго произведенія всякому, кто признаетъ въ себѣ мысли (а кто же не признаетъ ихъ въ себѣ?), а на основаніи эстетическихъ условий это тяжелѣе. Не говоримъ также, что по существу критикъ, ищущій предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведенія, именно его постройка, остается почти всегда безъ оцѣнки и опредѣленія, по скажемъ, что обыкновенно и не тѣхъ мыслей требуютъ отъ искусства, какія оно призвано и способно распространять въ своей сферѣ... Требуютъ мысли не художественной, а философской или педагогической. Известно, что каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ идей, нисколько не сходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до безконечности способность разсужденія вообще. Такъ, есть музыкальная, скульптурная, архитектурная и также литературная мысль. Всѣ онѣ самостоятельны и не могутъ быть перенесенными, чтобы переиженная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, парадоксомъ и чудовищностью. Какого же рода циклъ идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ сущность его? Развитие психологическихъ сторонъ лица или многихъ составляетъ основу всякаго повѣствованія, которое очерчиваетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій чловѣческаго нравственнаго существа въ соприкосновеніи съ другими людьми. Гдѣ есть въ разсказѣ присутствіе и психологическаго факта, и вѣрное развитіе его, тамъ есть настоящая и глубокая мысль. Взамѣнъ, если повѣствованіе основано на чистой мысли, но выраженной, какъ всегда выражается такая мысль, посредствомъ невозможнаго или противуэстетическаго душевнаго настроенія, то мысль уже не спасетъ разсказа, какъ бы сама по себѣ ни была свѣтла и благородна. Произведеніе останется все-таки плохимъ, впечатлѣніе, произведенное имъ, будетъ слабо и вліяніе совершенно ничтожно.“

❖ Это отрицаніе философскихъ и всякихъ другихъ мыслей въ изящныхъ произведеніяхъ, кромѣ одной психологической правды, и требованіе, чтобы критика на первомъ планѣ ставила чисто-эстетическую оцѣнку, въ свою очередь, шли совершенно въ разрѣзъ и съ духомъ времени, и съ существеннымъ значеніемъ новой литературной школы. Мы нарочно сдѣлали эту цитату изъ статьи Анненкова, чтобы показать, какъ къ концу реакціоннаго періода литераторы-оппортунисты въ такой степени успѣли проникнуть всюду и переиживать всѣ карты, что на страницахъ *Современника* могли встрѣчаться тѣ же самые взгляды, какіе развивались и въ *Библиотеке для Чтенія*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но 1855 г. былъ послѣднимъ годомъ господства оппортунистовъ. Въ слѣдующіе года они принуждены были сосредоточиться въ двухъ журналахъ: *Отечественныхъ Запискахъ* и *Библиотеке для Чтенія*,—и слѣпо, вяло и бессмысленно ратуя противъ могучаго теченія вновь проросшей жизни, *Библиотеку для Чтенія* они совсѣмъ погребли, а *Отечественныя Записки* къ концу шестидесятихъ годовъ довели почти до издыханія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I. Московская оппозиція: изданіе *Протилесъ* и возникновеніе славянофильства. Біографическія свѣдѣнія о жизни И. и П. Кирѣевскихъ, А. С. Хомякова, Б. и И. Аксаковыхъ. — II. Религіозныя и философско-историческіе взгляды первыхъ славянофиловъ. — III. Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи. IV. — Погромы, испытанные ими. — V. Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды. — VI. Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: А. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точка соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами. — VII. Орестъ Федоровичъ Миллеръ.

I.

Вслѣдствіе ли отдаленности Москвы отъ центрального пункта реакціи, оттого ли, что она была очагомъ и колыбелью новаго литературнаго движенія, или по какимъ-либо инымъ причинамъ, но въ пятидесятые года Москва далеко не представляла такого литературнаго запустѣнія, какъ Петербургъ. Въ ней шевелилась кое-какая самостоятельная жизнь и даже замѣчался призракъ чего-то въ родѣ оппозиціи.

Таково, напримѣръ, было изданіе Катковымъ и Леонтьевымъ (съ 1851 и по 1857 гг.) пяти томовъ сборниковъ статей по классической древности, подъ заглавіемъ *Протилеси*. Въ сборникахъ этихъ помѣщались ученые статьи по древнему міру и переводы классиковъ какъ самихъ издателей, такъ и Грановскаго, Кудрявцева, М. Куторги и прочихъ специалистовъ по исторіи и древностямъ. И хотя содержаніе этихъ сборниковъ было строго научное, при полномъ отсутствіи чего либо тенденціознаго и будирующаго, но самое періодическое изданіе статей по классической древности было уже оппозиціей противъ слѣпнаго гоненія на все классическое, воздвигнутаго въ то время въ административныхъ сферахъ въ видѣ уничтоженія преподаванія греческаго языка въ гимназіяхъ и крайняго стѣсненія въ университетахъ программъ по древней исторіи.

Еще больше жизни и движенія замѣчалось въ то время въ славянофильскомъ лагерѣ. По истинѣ можно сказать, что подъ свистками и хихиканьями петербургскихъ оппортунистовъ славянофилы переживали въ то время самыя свѣтлыя и доблестныя страницы своей исторіи; въ ихъ честныхъ и высоко-идеальныхъ кружкахъ сохранялись тѣ лучшія традиціи сороковыхъ годовъ, которыя были столь постыдно забыты хлыщевато-бюрократическими журналистами Петербурга.

На славянофиловъ привыкли у насъ смотрѣть, какъ на реакціонеровъ, смѣшивая ихъ въ одну категорію съ квасными патриотами 30-хъ годовъ въ родѣ Шевырева и Погодина. Другіе шли еще дальше, искали начала славянофильской партіи въ раскольникахъ и стрѣльцахъ эпохи Петра, и затѣмъ, открывая въ каждомъ послѣдующемъ поколѣніи аналогичныя явленія, ближайшимъ предшественникомъ славянофиловъ считали адмирала Шишкова съ его ратованіями за старый слогъ.

Но въ то время какъ Шишковъ ничего не представлялъ собою, кромѣ слѣпнаго изувѣрства и узкаго педантизма, славянофилы сороковыхъ годовъ были образованнѣйшими людьми своего времени и читали тѣ же книжки, по какимъ учились и Герценъ, и Бѣлинскій, и Грановскій, что

мы и увидимъ сейчасъ изъ фактовъ жизни первыхъ вождей славянофильства, — братьевъ Ивана и Петра Васильевичей Кирѣвскихъ, Алексѣя Степановича Хомякова, Константина и Ивана Сергѣевичей Аксаковыхъ.

Отецъ братьевъ Кирѣвскихъ, Василій Ивановичъ, происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, владѣвшаго въ Бѣлевскомъ уѣздѣ многими имѣніями, между прочимъ, селомъ Долбино въ 7 верстахъ отъ Бѣлева. Онъ былъ человѣкъ замѣчательно просвѣщенный, зналъ пять языковъ; въ молодости самъ занимался литературою; по преимуществу любилъ естественныя науки, особенно физику, химию и медицину. Отъ жены его, урожденной Авд. Петр. Юшковой, у него родилось трое дѣтей: сынъ Иванъ, въ Москвѣ 1806 г., сынъ Петръ, въ Долбинѣ 1808 г., и дочь Марія. По смерти его въ 1812 году, вдова возвратилась съ дѣтьми въ Долбино. Воспитаніе мальчиковъ шло сначала подъ вліяніемъ поэта В. А. Жуковскаго, родственника Кирѣвской, затѣмъ подъ руководствомъ второго мужа ея, А. А. Елагина. Особенно счастливыми способностями отличался Иванъ Кирѣвскій. Быстро развиваясь, уже въ деревнѣ онъ усвоилъ французскій и нѣмецкій языки, познакомился съ литературами этихъ языковъ, перечелъ много историческихъ книгъ, основательно выучился математикѣ, познакомился съ философіею Локка, Гельвеція, Канта и Шеллинга.

Въ 1822 году Елагины переѣхали въ Москву для дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, и здѣсь Кирѣвскіе начали учиться по-латыни и по-гречески, брали уроки у Снегирева, Мерзлякова, Цвѣтаева, Чумакова и другихъ профессоровъ Московскаго университета, слушали публичныя лекціи Павлова и выучились по-англійски. Въ 1824 году И. Кирѣвскій поступилъ въ Московскій главный архивъ иностранной коллегіи, гдѣ сблизился со всѣми такъ называемыми «архивными юношами» — Веневитиновыми, В. П. Титовымъ, С. П. Шевыревымъ и пр. Въ началѣ 1827 года князь Вяземскій успѣлъ взять съ него слово написать что-нибудь для прочтенія на литературныхъ вечерахъ у княгини З. А. Волконской, и онъ написалъ *Царицынскую ночь*. Это былъ первый литературный опытъ Кирѣвскаго, сдѣлавшійся извѣстнымъ многочисленному кругу слушателей. Въ 1828 году онъ написалъ для *Московскаго Вѣстника* статью: *Ничто о характерѣ поэзіи Пушкина*. Статья была напечатана безъ подписи его имени, только съ цифрами 9 и 11. Тогда же и Петръ Кирѣвскій напечаталъ въ «Вѣстникѣ» отрывокъ изъ Кальдерона, переведенный имъ съ испанскаго, издалъ особою книжкою переводъ Байроновской повѣсти «Вампиръ». Въ 1829 году Петръ Кирѣвскій отправился за границу для слушанія лекцій въ германскихъ университетахъ, а въ началѣ 1830 года уѣхалъ велѣдъ за нимъ и И. Кирѣвскій. За границей братья слушали лучшихъ профессоровъ того времени, между прочимъ, Шеллинга и Гегеля. По возвращеніи же изъ-за границы осенью 1831 года И. Кирѣвскій приступилъ къ изданію журнала *Европеецъ*. Ревностными сотрудниками *Европейца* были: Языковъ, Баратынскій, Хомяковъ, Жуковскій, кн. Вяземскій, А. И. Тургеневъ и кн. Одоевскій. Но журналъ былъ запрещенъ 22-го февраля 1832 года за статью И. Кирѣвскаго: *XIX вѣкъ*, Цензоръ С. Т. Аксаковъ былъ отставленъ, а Кирѣвскому угрожало удаленіе изъ столицы, и лишь заступничество В. А. Жуковскаго спасло его.

Запрещеніе журнала такъ подѣйствовало на И. Кирѣвскаго, что въ продолженіе 12 лѣтъ онъ почти не брался за перо. Въ этотъ періодъ вре-

мени онъ и превратился изъ яраго западника въ такого же крайняго славянофила. Этимъ превращеніемъ онъ былъ обязанъ главнымъ образомъ своему брату Петру. Послѣдній говорилъ и писалъ на семи языкахъ; свѣдѣнія его были громадны, хотя способности были менѣ блестящи, чѣмъ у брата,—онъ не былъ такъ краснорѣчивъ и писалъ съ большимъ трудомъ. Единственная статья его была написана для *Москвитянина* 1845 года; изъ переводовъ его молодости осталось въ рукописи нѣсколько оконченныхъ трагедій Кальдерона и Шекспира. Его переводъ «Исторіи Магомета», Вашингтона Ирвинга, былъ напечатанъ послѣ его смерти (въ 1856 г.). Свой подвигъ собиранія народныхъ пѣсень, наиболѣе его прославившій, онъ началъ лѣтомъ 1831 года.

Разномысліе братьевъ вело къ ежедневнымъ горячимъ спорамъ, подъ вліяніемъ которыхъ И. Кирѣевскій и превратился изъ западника въ славянофила. Не мало вліянія на этотъ переворотъ оказало и знакомство со схимникомъ Новоспасскаго монастыря, старцемъ Филаретомъ, бесѣды котораго очень цѣнили И. Кирѣевскій; во время предсмертной болѣзни старца онъ ходилъ за нимъ съ заботливостью преданнаго сына и цѣлыя ночи просиживалъ въ его кельѣ надъ постелью умирающаго.

Въ 1834 году И. Кирѣевскій женился на Нат. Петр. Арбениной, которую уже давно любилъ. Съ 1839 года И. Кирѣевскій былъ почетнымъ смотрителемъ Бѣлевскаго уѣзднаго училища. Въ началѣ 40-хъ годовъ онъ хлопоталъ о полученіи въ Московскомъ университетѣ вакантной каведры логики, но подозрѣніе въ политической неблагонадежности, тяготѣвшее надъ нимъ со времени запрещенія *Европейца*, воспрепятствовало этому. Въ 1845 г. онъ принималъ горячее участіе въ изданіи *Москвитянина*, три первыя книжки за этотъ годъ были изданы подъ его редакціей; но невозможность издавать журналъ, не будучи его полнымъ хозяиномъ и официальнымъ издателемъ, заставила его отказаться отъ редакторства. Лѣтомъ 1845 года Кирѣевскій переѣхалъ въ свое Долбино и оставался здѣсь до осени 1846 года. Годъ этотъ былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ въ его жизни. Въ этотъ годъ онъ похоронилъ свою маленькую дочь и лишился многихъ друзей. Въ началѣ 1854 г. Кирѣевскій написалъ свое извѣстное письмо къ гр. Кошаровскому: *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніе къ просвѣщенію Россіи*. Статья эта была написана для *Московского Сборника* и напечатана въ первой книгѣ. Крушеніе второго тома *Сборника* такъ подействовало на Кирѣевскаго, что онъ пересталъ совсѣмъ писать для печати. Лишь когда послѣ Крымской войны повѣяло новою жизнью, и въ 1856 г. въ Москвѣ основался журналъ *Русская Бесѣда* подъ редакціей Кошелева, съ участіемъ всѣхъ друзей и единомышленниковъ Кирѣевскаго, онъ рѣшился прервать молчаніе и въ февралѣ прислалъ въ Москву свою статью *О возможности и необходимости новыхъ началъ для философіи*. Но статья этой было суждено играть роль лебединой пѣсни И. Кирѣевскаго: 10-го іюля 1856 года онъ занемогъ холерою и 11-го скончался. Тѣло его было перевезено въ Оптину пустынь и положено близъ соборной церкви.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ родился въ Москвѣ на Ордынкѣ 1804 года 1-го мая. По отцу и матери (урожденной Кирѣевской) Хомяковъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду. Когда Хомяковъ кончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ, отецъ его, весной 1822 года, привезъ своего сына въ Новоархангельскъ, Херсонской губерніи, для опредѣленія

на службу въ кирасирскій полкъ и поручилъ его командиру этого полка, гр. Д. Е. Остенъ-Сакену, который принялъ юношу, какъ сына. Вотъ какъ свидѣтельствуегь о Хомяковѣ Остенъ-Сакенъ:

„Въ физическомъ, нравственномъ и духовномъ воспитаніи Хомяковъ былъ едва ли не единича. Образование его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встрѣчалъ ничего подобнаго въ юношескомъ возрастѣ. Какое возвышенное направленіе имѣла его поэзія! Онъ не увлекался направленіемъ вѣка къ поэзіи чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Бѣдилъ верховъ отлично. Прогналъ черезъ препятствія въ вышину челоуѣка. На эспадронахъ дрался превосходно. Обладалъ силою воли, не какъ юноша, но какъ мужъ, искушенный опытомъ; строго исполнялъ все посты по уставу православной церкви, и въ праздничные и воскресные дни посѣщалъ все богослуженія. Въ то время было уже значительное число вольнодумцевъ, денетовъ, и многіе глумились надъ исполненіемъ уставовъ церкви, утверждая, что они установлены для черни. Но Хомяковъ внушалъ къ себѣ такую любовь и уваженіе, что никто не позволялъ себѣ коснуться его вѣрованій. Онъ не позволялъ себѣ вѣ службы употреблять одежду изъ тонкаго сукна даже дома, и отвергнулъ позволеніе носить жестыяныя кирасы вмѣсто жѣзвъныхъ, полупудоваго вѣса, несмотря на малый ростъ и съ виду слабое сложеніе. Относительно терпѣнія и перенесенія физической боли обладалъ онъ въ высшей степени спартанскими качествами“.

Прослуживъ не болѣе года подъ начальствомъ гр. Остенъ-Сакена, Хомяковъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи конный полкъ; 1821 и 26 годы онъ провелъ въ путешествіяхъ по чужимъ краямъ. Движеніе, овладѣвшее въ то время петербургскою военною молодежью, прошло мимо Хомякова. Онъ жилъ долго и уединенно въ Парижѣ, занимался живописью и писалъ трагедію *Ермакъ*. Военную службу онъ продолжалъ до окончанія войны съ Турціею, 1829 г.; затѣмъ онъ вышелъ въ отставку и всю жизнь посвятилъ научнымъ и литературнымъ занятіямъ, примкнувъ къ кружку славянофиловъ. Съ тридцатыхъ годовъ начали появляться въ московскихъ журналахъ статьи Хомякова по философіи, исторіи и богословію, проникнутыя ультра-славянофильскимъ духомъ. Такимъ же духомъ преисполнены и его трагедіи въ стихахъ: *Ермакъ* и *Дмитрій Самозванецъ*, а также и масса лирическихъ стихотвореній, дышащихъ горячимъ патріотизмомъ. Неустанная дѣятельность его продолжалась до 1860 года, когда преждевременная смерть отъ холеры свела его въ могилу.

Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ, старшій сынъ извѣстнаго писателя С. Т. Аксакова и жены его О. С. Заплатиной, родился 29-го марта 1817 г. въ селѣ Аксаковѣ, Бугурусланскаго уѣзда, тогдашней Оренбургской губерніи. Здѣсь К. Аксаковъ прожилъ до девяти лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи съ крестьянами, что, конечно, сильно повліяло на ту любовь къ народу, какую онъ обнаруживалъ впослѣдствіи, и на его взгляды о преимуществахъ нравственныхъ свойствъ народа передъ интеллигенціей. Съ 1826 года К. Аксаковъ поселяется съ отцомъ въ Москвѣ и живетъ въ ней безвыѣздно въ теченіе всей почти жизни. Первымъ наставникомъ и воспитателемъ К. Аксакова былъ отецъ его, развившій въ немъ рано страсть къ литературѣ. Въ 1830 г., пятнадцати лѣтъ, К. Аксаковъ поступилъ уже въ Московскій университетъ на словесный факультетъ; здѣсь онъ вошелъ въ скоромъ времени въ среду знаменитаго кружка Станкевича и сдѣлался однимъ изъ энергическихъ его членовъ на поприщѣ увлеченія Гегелемъ и всеми тѣми нравственно-философскими вопросами, какими волновался кружокъ. Вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ онъ сотрудничалъ подъ псевдонимомъ Волшебника въ *Телескопъ*, *Молвъ*, *Московскомъ Наблюдателѣ*, помѣщая въ этихъ журналахъ рецензіи и стихи, преимущественно переводы изъ Шиллера и Гёте. Въ 1838 г. К. Аксаковъ поѣхалъ за границу, но пробылъ тамъ не болѣе пяти мѣсяцевъ, не въ силахъ будучи долѣе жить вдали отъ родныхъ и

внѣ домашней обстановки. Послѣ отъѣзда въ 1839 году Бѣлинскаго въ Петербургъ, у К. Аксакова, при сближеніи его съ Хомяковымъ, Кирѣевскимъ и Самаринымъ, начался поворотъ къ славянофильству, произведшій разрывъ его съ Бѣлинскимъ и прочими членами кружка. Въ теченіи сороковыхъ годовъ К. Аксаковъ успѣлъ настолько увлечься славянофильскими идеями, что сдѣлался однимъ изъ вождей этой партіи. Такъ, въ *Московскомъ Сборникѣ*, изданномъ славянофильскимъ кружкомъ въ 1846 г., онъ



К. С. Аксаковъ.

выступилъ подъ псевдонимомъ *Имрека* съ тремя критическими статьями въ крайне-славянофильскомъ духѣ, въ которыхъ досталось за оторванность отъ народа не только кн. Одоевскому и Тургеневу, но и Ѡ. Достоевскому. Въ 1847 году К. Аксаковъ защищалъ диссертацию о Ломоносовѣ, представленную имъ для полученія степени магистра русской словесности, при чемъ книгу пришлось перепечатать вслѣдствіе нѣкоторыхъ рѣзкихъ выраженій о Петрѣ и петербургскомъ періодѣ. Въ декабрѣ 1850 г. К. Аксаковъ поставилъ въ бенефисъ Леонидова свою драму: *Освобожденіе Москвы*, но она была снята со сцены на слѣдующій же день послѣ бенефиса.

Въ книгѣ *Московского Сборника* 1852 г. была напечатана статья К. Аксакова: *О родовомъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ частности*. Второй же выпускъ сборника 1853 г. былъ задержанъ цензурою, между прочимъ, за статью К. Аксакова: *О богатыряхъ князя Владимира*. Когда «Сборникъ» былъ запрещенъ, К. Аксаковъ, вмѣстѣ съ прочими его главными сотрудниками, былъ отданъ подъ полицейскій надзоръ и лишенъ права печатать свои статьи иначе, какъ проведя ихъ черезъ главное управленіе цензуры въ Петербургѣ.

Только съ наступленіемъ новаго царствованія К. Аксаковъ могъ снова отдаться литературной дѣятельности. Такъ, онъ принялъ энергическое участіе въ начавшей выходить съ 1856 года *Русской Бесѣдѣ*, а въ 1857 году самъ редактировалъ еженедѣльную газету *Молва*, гдѣ помѣстилъ множество мелкихъ статей. Кромѣ того, въ концѣ пятидесятихъ годовъ онъ напечаталъ двѣ драмы: *Князь Рюковичскій* и *Олего подѣ Константинополемъ*, начало своей русской грамматики и пр.

Вся эта энергическая дѣятельность была прервана со смертью отца К. Аксакова, Сергѣя Тимофеевича. Смерть эта такъ подѣйствовала на нѣжно любящаго сына, что онъ впалъ въ отчаяніе, потерялъ сонъ, аппетитъ, въ короткое время изъ атлета сдѣлался человѣкомъ болѣзненнымъ и хилымъ, впалъ въ злую чахотку и черезъ полтора года—6-го дек. 1860 г.—умеръ на островѣ Зантѣ.

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, младшій сынъ Сергѣя Тимофеевича, родился 16-го сент. 1823 г., въ селѣ Надеждинѣ, Велебеевского уѣзда, Уфимской губерніи. Трехъ лѣтъ онъ переѣхалъ съ семействомъ въ Москву. Учился онъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія и, кончивши курсъ въ 1824 г., поступилъ на службу въ Московскій сенатъ. Затѣмъ онъ служилъ въ калужской и астраханской уголовныхъ палатахъ, а въ 1848 году перешелъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ чиновникомъ особыхъ порученій; ѣздилъ по раскольничьимъ дѣламъ въ Бессарабію и въ Ярославскую губернію для ревизіи городского управленія, для введенія единовѣрія и изученія секты бѣгуновъ, результатомъ чего былъ объемистый трудъ его о бѣгунахъ, часть котораго была напечатана въ *Русскомъ Архивѣ* 70-хъ годовъ.

Выйдя въ отставку въ 1852 г., И. Аксаковъ посвятилъ себя журнальной дѣятельности, былъ редакторомъ *Московского Сборника*, и, при погромѣ послѣдняго, на него было обращено особенное вниманіе: сверхъ предписанія представлять сочиненія въ Главное правленіе, онъ былъ лишенъ права когда бы то ни было быть издателемъ или редакторомъ журнала. Послѣ этого онъ принялъ на себя порученіе Географическаго общества изучить торговлю на Украинскихъ ярмаркахъ. Въ концѣ 1853 года онъ уѣхалъ съ этою цѣлью въ Малороссію и полтора года употребилъ на изученіе малороссійской торговли, что дало ему возможность изучить русскую торговлю вообще и завести тѣсныя связи съ купечествомъ, которыя впоследствии доставили ему доходное мѣсто предсѣдателя Московскаго общества взаимнаго кредита. Результатомъ командировки И. Аксакова явилось объемистое *Изслѣдованіе торговли на Украинскихъ ярмаркахъ*, появившееся въ свѣтъ въ 1859 г., встрѣченное единодушными похвалами всей печати и удостоившееся почетныхъ наградъ: Географическое общество, издавшее *Изслѣдованіе*, присудило автору большую

Константиновскую медаль, а Академія Наукъ—половинную Демидовскую премію.

Въ 1858 году И. Аксаковъ былъ негласнымъ редакторомъ *Русской Бесѣды*. Въ 1859 году ему, послѣ долгихъ хлопотъ, удалось снискать разрѣшеніе на еженедѣльную газету *Парусъ*, но она была запрещена на второмъ номерѣ.

Послѣ смерти отца, 30 апр. 1859 г., И. Аксаковъ принужденъ былъ оставить редакцію *Русской Бесѣды* и ѣхать съ больнымъ братомъ Константиномъ, при которомъ и находился неотлучно до самой смерти его на островѣ Зантъ. Пребываніемъ за границею И. Аксаковъ воспользовался для ознакомленія съ западнымъ и южнымъ славянствомъ, посѣтилъ главнѣйшіе центры европейскаго славянства и завязалъ личныя знакомства со многими изъ наиболее видныхъ представителей его. Какъ члена только-что основаннаго тогда въ Москвѣ Славянскаго благотворительнаго комитета, его вездѣ встрѣчали очень тепло, и особенно въ Бѣлградѣ.

По возвращеніи домой И. Аксаковъ началъ хлопотать объ изданіи еженедѣльной газеты *День*. Разрѣшеніе было ему дано, но съ тѣмъ, чтобы въ газетѣ не было политическаго отдѣла. Кромѣ того цензурѣ было предписано имѣть за газетою особенно бдительное наблюденіе. Изданіе *Дня* продолжалось съ конца 1861 года и до конца 1865 г., когда И. Аксаковъ прекратилъ изданіе въ силу обстоятельствъ личнаго свойства.



Иванъ Аксаковъ.

Черезъ годъ—съ 1-го января 1867 г.—И. Аксаковъ предпринялъ изданіе новой ежедневной газеты *Москва*, но газетѣ этой не посчастливилось на почвѣ новаго цензурнаго устава: она существовала всего 22 мѣсяца,—по 21-е окт. 1868 года, и въ этотъ короткий періодъ получила девять предостереженій, причѣмъ три раза была приостановлена: въ первый разъ—на три, второй—на четыре, третій—на шесть мѣсяцевъ. Во время этихъ приостановокъ *Москву* замѣнилъ *Москвичъ*, выходявшій, правда, подъ номинальною редакціею другого лица, но фактически редактировавшійся И. Аксаковымъ и даже внѣшнимъ видомъ вполне сходный съ *Москвою*.

Женившись въ концѣ шестидесятыхъ годовъ на дочери поэта Тютчева, фрейлинѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ, И. Аксаковъ поступилъ на службу во 2-е Московское общество взаимнаго кредита на мѣсто предсѣдателя совѣта.

Но эта служебно-практическая дѣятельность не поглотила всѣхъ силъ и всего времени И. Аксакова, и онъ не переставалъ быть вождемъ своей

партіи, ознаменовавши послѣдніе годы своей жизни и какъ блестящій ораторъ, и какъ публицистъ. Въ качествѣ оратора И. Аксакову пришлось по-двигаться въ званіи предсѣдателя Славянскаго комитета, причеиъ самыми горячими годами этого рода дѣятельности была эпоха сербскаго движенія и турецкой войны, начиная съ 1875 до 1878 года. Каждое слово его въ то время являлось политическимъ событіемъ. О каждой рѣчи летѣли телеграммы во все концы міра, и западная печать судила по нимъ о предстоящихъ шагахъ русской политики. Особенно же много шума надѣлала горячая и полная негодованія рѣчь его, сказанная въ засѣданіи московскаго Славянскаго комитета 22-го іюня 1878 года по поводу берлинскаго трактата. Результатомъ этой рѣчи было то, что московскій Славянскій комитетъ былъ закрытъ, а Аксаковъ долженъ былъ оставить Москву, и лишь въ декабрѣ 1878 г. ему было дозволено вновь вернуться въ столицу.

Въ качествѣ публициста онъ выступилъ въ концѣ жизни издателемъ новой еженедѣльной газеты *Русь*, которую онъ издавалъ съ 1880 г. до самой смерти своей, 27-го янв. 1886 г., приключившейся отъ болѣзни сердца.

Сверхъ своего преобладающаго значенія въ качествѣ публициста и оратора, И. Аксаковъ извѣстенъ въ нашей литературѣ и какъ поэтъ славянофильства. Начиная съ 1845 г., стихи его печатались во всехъ славянофильскихъ изданіяхъ; отдѣльнымъ же сборникомъ вышли лишь послѣ смерти его. Поэтическую дѣятельность И. Аксаковъ оставилъ совсѣмъ въ началѣ 60-хъ годовъ, «убѣдившись, какъ онъ самъ потомъ говорилъ, что при всеиъ лиризмѣ, свойственномъ его натурѣ, при всеиъ чуткости пониманія красотъ поэзіи, онъ не обладаетъ ни художественнымъ творчествомъ, ни граціей, ни образностью, ни музыкальностью рѣчи, и онъ перешелъ къ прозѣ, которую, можетъ быть, иногда портитъ, наоборотъ, излишнею примѣсью поэтическаго элемента».

II.

Чтобы понять, что такое было славянофильство въ сильныхъ и слабыхъ сторонахъ, слѣдуетъ представить себѣ людей, которые едва успѣли получить могучій умственный толчекъ, выведшій ихъ изъ круга мыслей, раздѣляемыхъ темною толпою. До того времени они были беззавѣтно вѣрующими людьми, слѣпо преданными традиціямъ; страстно любили родину, воображая, что лучше ея нѣтъ страны въ мірѣ; наконецъ привыкли на все ея учрежденія смотрѣть, какъ на нѣчто въ высшей степени совершенное и священное. Однимъ словомъ, подобно любому простолудину, они смѣшивали понятія о религіи, отечествѣ и его учрежденіяхъ въ нѣчто совершенно безраздѣльное, въ равной степени неприкосновенно божественное и одно безъ другого немислимое.

Но вотъ мысль ихъ увлеклась новыми философскими системами и филантропно-демократическими идеями. Къ чему же должна она была устремиться? Конечно, прежде всего къ тому, чтобы отдать отчетъ въ прежнихъ своихъ вѣрованіяхъ и осмыслить ихъ на основаніи новыхъ данныхъ. Такими данными были метафизическія системы Шеллинга и Гегеля. Одна учила, что каждая народность осуществляетъ какую-нибудь идею. Но есть идеи частныя, мелкія, и есть крупныя, всемірно-историческія. Сообразно чему и народы дѣлятся на всемірно-историческіе, первостепенные,

и второстепенные, не историческіе. Гегель, въ свою очередь, училъ, что большинство народностей выражаетъ собою тѣ односторонности и крайности, на которыя распадается идея въ процессѣ своего діалектическаго развитія, но есть великія націи—избранники, которымъ суждено примирять односторонности въ высшемъ воссоединяющемъ синтезѣ. Гегель полагалъ, что столь гигантская роль въ современной исторіи принадлежитъ, конечно, ужь Германіи.

Если стоявшій во главѣ европейской философіи Гегель былъ способенъ на такое патріотическое пристрастіе, то тѣмъ болѣе свойственно было нашимъ юнымъ московскимъ мыслителямъ, привыкшимъ съ дѣтства смотрѣть на родину, какъ на соединеніе всѣхъ совершенствъ, возмнѣть, что именно ей предназначено осуществить собою тотъ воссоединяющій синтезъ, какой Гегель приписывалъ своей возлюбленной Германіи.

Въ чемъ же долженъ былъ заключаться этотъ синтезъ? Конечно, въ осуществленіи тѣхъ самыхъ гуманныхъ, демократическихъ идей, которыя Европа тщетно пытается осуществить, не въ силахъ будучи отрѣшиться отъ своего историческаго прошлаго. Роль такого осуществленія принадлежитъ Россіи.

Таковъ былъ первоначальный ходъ мышленія, господствовавшій въ кружкѣ Станкевича, принадлежа безразлично какъ будущимъ славянофиламъ, такъ и западникамъ. Но далѣе затѣмъ представился вопросъ: почему же именно на долю Россіи выпала подобная великая роль? Этотъ вопросъ именно и раздѣлилъ московскихъ мыслителей на два лагеря, такъ какъ онъ допускаетъ возможность двухъ діаметрально противоположныхъ рѣшеній: Россіи можетъ быть свойственна ея великая роль или потому, что она представляетъ собою *tabula rasa*, не имѣя никакихъ историческихъ традицій, которыя мѣшали бы ей, какъ это мы видимъ на Западѣ, осуществленію великихъ идей, или же, наоборотъ, она имѣетъ, въ свою очередь, очень прочныя традиціи, но такія, которыя нисколько не мѣшаютъ осуществленію великихъ идей, такъ какъ вполне имъ соотвѣтствуютъ. За первое рѣшеніе ухватились люди, наиболѣе отрѣшившіеся отъ традицій; второе же было свойственно тѣмъ, которымъ съ традиціями разстаться было жалко. Таково было происхожденіе раздѣленія славянофиловъ и западниковъ.

И дѣйствительно, въ первыхъ славянофилахъ прежде всего васъ поражаетъ ультра-религіозное міросозерцаніе, покоящееся на традиціонныхъ началахъ. Такъ А. С. Хомяковъ является передъ нами писателемъ по преимуществу богословскимъ, причѣмъ какъ научныя его статьи, такъ и стихотворенія проникнуты религіознымъ экстазомъ. И. Кирѣевскій, какъ мы видѣли, изъ рьянаго западника превратился въ славянофила, между прочимъ подъ вліяніемъ схимника Новоспасскаго монастыря, старца Филарета, за которымъ ухаживалъ при его смерти. К. Аксаковъ самъ былъ особеннаго рода свѣтскимъ схимникомъ, оставаясь, по словамъ И. Панаева, «въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ, до сорока лѣтъ, т. е. до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ опоры семейства. Въ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятіяхъ, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого

перемена въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ перенести этой потери и перемены, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ то же время славянофилы очень строго соблюдали посты и всѣ религиозные обряды; самые же ревностные изъ нихъ не только снимали шапки и набожно крестились передъ каждою церковью, но и приходя въ гости, прежде чѣмъ раскланяться съ хозяевами, крестились и кланялись по народному обычаю образамъ.

Въ основѣ славянофильскаго ученія лежитъ идея вполне религиозная. Западъ, по мнѣнію славянофиловъ, пришелъ къ печальному разочарованію, и ему грозитъ гибель разложенія, потому что онъ воспринялъ отъ древняго Рима цивилизацію, основанную на одностороннемъ началѣ разсудочности, механической государственности. Когда христіанство сломило язычество, императоръ Θεодосій провозгласилъ его государственною религіею, и это, по мнѣнію Хомякова, была роковая ошибка, поведшая къ гибельнымъ послѣдствіямъ. «Вѣдь не то государство,—говоритъ онъ въ своихъ *Запискахъ о всемирной исторіи*,—есть христіанское, которое признаетъ христіанство, но то, которое признается христіанствомъ: ибо не церковь благославляется государствомъ, но государство церковью». Ревность великаго императора ввела его, по мнѣнію Хомякова, въ ошибку, къ несчастію, отзывающуюся черезъ 14 вѣковъ вплоть до нашего времени и заключающуюся въ томъ, что Западъ понялъ христіанство въ духѣ римской государственности, вслѣдствіе чего церковь находилась сперва въ полной зависимости отъ государства, потомъ же, когда, стремясь къ независимости, она стала мало-по-малу приобретать и силу, и власть, то поставила себѣ цѣлью сдѣлаться самой государствомъ съ папой—самодержавнымъ властелиномъ народовъ во главѣ—и съ духовенствомъ, послушнымъ орудіемъ его воли. Между тѣмъ идеаль челоѣчества заключается въ совѣтѣ противоположномъ, ибо не церковь должна имѣть подобіе государства, но государство должно преобразоваться въ церковь.

Россія прежде всего тѣмъ отличается отъ Запада, что приняла христіанство не изъ Рима, а отъ Византіи. Исторія же Византіи, по мнѣнію Хомякова, представляетъ продолженіе древней греческой. Греція же искони была богата умственною самобытною дѣятельностью. Востокъ чуждъ былъ римской централизаціи, и каждая восточная церковь сохранила свою особенность и свободу, полагая единеніе во вселенскихъ соборахъ, и такимъ образомъ здѣсь былъ разрѣшенъ вопросъ, неразрѣшимый на Западѣ: сочетаніе въ церкви единства со свободою. Въ то же время вѣра основывалась здѣсь не на одной разсудочности, не только мыслилась, но и чувствовалась,—была не однимъ познаніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и жизнью, въ чемъ и заключалась восточная цѣльность сравнительно съ западною односторонностью. Поэтому и въ Россіи православная церковь, управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею, приобретая власть свѣтскую, не стремилась быть государствомъ; какъ и государство, въ свою очередь, смиренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не сознавало себя «святымъ» въ смыслѣ сопроницанія церковности и свѣтскости, какъ «Священная римская имперія».

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ самой слабой стороною славянофиль-

скаго ученія. Не говоря уже о томъ, что здѣсь мы находимъ массу доктринерства въ видѣ подогнанія во что бы то ни стало историческихъ фактовъ подъ теорію, построенную на метафизической почвѣ, не говоря о явномъ патріотическомъ пристрастіи, сквозящемъ въ каждомъ камнѣ этой фантастической постройки, немало отпугивали отъ славянофиловъ ихъ прославленіе византійства и слишкомъ ужъ усердное подливаніе всюду деревяннаго масла. Это была со стороны славянофиловъ чисто донкихотская борьба противъ всеобщаго теченія и духа времени.

Теперь мы обратимся къ болѣе свѣтлымъ сторонамъ этого ученія, которыми славянофилы были обязаны преимущественно историческимъ трудамъ К. Аксакова. И здѣсь вы найдете немало и доктринерства, и мечтательнаго идеализма, но сквозь все эти недостатки проглядываютъ истины, добытыя путемъ серьезныхъ научныхъ изысканій, и вмѣстѣ съ тѣмъ горячее увлеченіе великими идеями, движущими современнымъ человѣчествомъ.

III.

Въ то время, какъ западныя государства, по мнѣнію славянофиловъ, сложились путемъ завоеванія, насилія, вражды, русское государство было основано добровольнымъ признаніемъ власти. При такихъ условіяхъ не нужна оказалась никакая гарантія; она есть зло; гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. Ни какой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ внутренняго на это желанія. Вся сила—въ нравственномъ убѣжденіи. Такимъ образомъ русское государство—это основанный на довѣренности союзъ народа съ властью, земли съ государствомъ. Народъ пахалъ, промыслялъ, торговалъ, поддерживая государство деньгами, въ случаѣ нужды становясь подъ знамена. Государь являлся первымъ хранителемъ земли. Въ основѣ этого порядка стоялъ общинный бытъ народа, что составляло рѣзкое отличіе отъ Запада, гдѣ въ основѣ лежалъ родовой бытъ, который повелъ къ созданію всюду сильныхъ и полномочныхъ аристократій. Въ Россіи же аристократіи не было и не могло быть, ибо боярство не было наследственно: это было сословіе служилое, составлявшее дружину государеву и пользовавшееся за свою службу помѣстьями и вотчинами. Общины же представляли собой союзъ людей, отказывавшихся отъ своего эгоизма; личность здѣсь не теряется, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находитъ себя въ высшемъ, очищенномъ видѣ, въ согласіи равномѣрно самоотверженныхъ личностей. Выраженіе совокупно нравственной дѣятельности общины есть совѣщаніе, имѣющее цѣлью общее согласіе; отсюда вытекаетъ начало единогласія при рѣшеніяхъ общины, противоположное началу большинства, насильственному, обладающему лишь физическимъ преимуществомъ.

Подъ общинами К. Аксаковъ разумѣлъ не одну только сельскую общину въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Онъ полагалъ общинное начало и въ древнихъ городахъ съ ихъ вѣчами, и въ областяхъ, составлявшихъ удѣльные княжества, а позже все Московское царство составляло одну обширную общину, добровольно покорявшуюся государямъ и заявлявшую свое мнѣніе въ земскихъ соборахъ, причемъ мнѣніе это никогда не имѣло законода-

тельной принудительной силы, а было лишь свободнымъ проявленіемъ общественнаго разума; наша мысль такова, а тамъ какъ угодно будетъ государю.

Изъ всего этого прямо вытекаетъ отрицательный взглядъ славянофиловъ на реформы Петра и на весь такъ называемый петербургскій періодъ. Они обвиняли Петра не только въ томъ, что онъ перекраивалъ русскую жизнь по чуждымъ ей началамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нарушилъ союзъ земли съ государствомъ, пересталъ слушать голосъ земства, а совершалъ свои реформы насильственно, деспотически.

Во всемъ этомъ безспорно много утопическаго и фантастическаго. Конечно, допетровская Русь далеко не представляла собою такого идиллическаго рая, какой рисуютъ славянофилы. Только крайнее ослѣпление отвлеченною доктриной могло отрицать на Западѣ всякое проявленіе альтруистическихъ стремленій, а въ русской жизни не видѣть проявленій той же холодной и мертвящей разсудочности и формализма. Но все-таки слѣдуетъ отдать справедливость великимъ заслугамъ, которыя оказали славянофилы своему отечеству, какъ въ научномъ отношеніи, такъ и социально-нравственномъ. Какъ бы ни заблуждались они, воображая русскій народъ богоизбраннымъ, предназначеннымъ совершить великій подвигъ возрожденія Европы, все-таки слѣдуетъ воздать имъ честь, что эту богоизбранность они полагали въ очень хорошихъ вещахъ, и все ученіе ихъ было проникнуто великими и гуманными идеями, которыя носились въ воздухѣ и готовились обновить русскую жизнь.

Такъ, отрицаніе аристократизма въ древней Руси не было у нихъ одною сухою научною формулой. Все ученіе ихъ было проникнуто живымъ демократическимъ духомъ. Выше всего въ славянскомъ племени ставили они миролюбіе, пристрастіе къ землѣдѣлію и отвращеніе къ воинственнымъ набѣгамъ и, какъ результатъ всего этого, выставляли смиреніе, скромность, стремленіе къ простотѣ и правдѣ въ жизни, при полномъ отсутствіи кичливости, рисовки и наружнаго блеска.

«Если братство народовъ, — разсуждалъ Хомяковъ, — если чувства правды и добра — не призракъ, но сила животворная и вѣчная, то нравственное главенство въ будущемъ принадлежитъ не германцамъ — завоевателямъ и аристократамъ, но славянамъ — земледѣльцамъ и разночинцамъ».

А вотъ что говоритъ И. Кирѣевскій въ своей статьѣ: *О характерѣ просвѣщенія Европы*:

«На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности; ее могли почитать духовные, въ противность обычнымъ понятіямъ, но въ общемъ мнѣніи она была почти добродѣтелью. Ей не уступали, какъ слабости, но, напротивъ, гордились ею, какъ завиднымъ преимуществомъ. Въ средніе вѣка народъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на наружный блескъ, окружающій человѣка, и свое понятіе объ этомъ наружномъ блескѣ благоговѣнно славилъ въ одно чувство съ понятіемъ о самомъ достоинствѣ человѣка. Русскій человѣкъ больше золотой парчи придворнаго уважалъ лохмотья юрдиваго. Роскошь проникла въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней извнялись, ей поддавались, какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религиозную, но и нравственную, и общественную».

Въ свою очередь и К. Аксаковъ говоритъ въ своей статьѣ о русской исторіи:

„Русская исторія, въ сравненіи съ исторіей Запада Европы, отличается такою простотою, что приводитъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. Русскій народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго

И у шк.
и Паб
Кирѣевскій
и Илл

эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе небольшую роль; принадлежность личности необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной релігіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольскаго драматизма страстей“.

Въ то же время изъ того положенія славянофильскаго ученія, что въ союзѣ земли съ властью землѣ принадлежитъ неотъемлемое право свободнаго выраженія мнѣнія, прямо проистекала горячая приверженность славянофиловъ къ свободѣ слова устнаго и печатнаго, и они, при каждомъ удобномъ случаѣ, смѣло и самоотверженно отстаивали эту свободу, платясь за это запрещеніями ихъ изданій и другими невзгодами.

Что они далеко не были слѣпыми приверженцами status quo, объ этомъ можно судить по знаменитой запискѣ К. Аксакова: *О внутреннемъ состояніи Россіи*, поданной въ 1855 году черезъ гр. Блудова только-что вступившему тогда на престолъ императору Александру II.

Въ запискѣ этой, излагая все то же свое ученіе о добровольномъ союзѣ власти съ землею, Аксаковъ, между прочимъ, заявляетъ:

„Начала русскаго гражданскаго устройства не были нарушены со стороны народа (ибо это его ко-ренныя народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То-есть правительство вмѣшалось въ нравственную свободу народа, стѣснено свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ въ душевредный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣческое достоинство народа и, наконецъ, обозначившійся упадкомъ нравственныхъ силъ въ Россіи съ общественнымъ развращеніемъ. Впереди же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи на радость враговъ ея, или же наказаніемъ русскихъ началъ въ самомъ народѣ, который, не находя свободы нравственной, захочетъ, наконецъ, свободы политической, прибѣгнуть къ революціи и оставить свой истинный путь. И тотъ, и другой исходъ—ужасны, ибо тотъ и другой—гибельны: одинъ—въ матеріальномъ и нравственномъ, другой—въ одномъ нравственномъ отношеніи“.

Но не одну свободу слова отстаивали славянофилы,—съ одинаково горячимъ сочувствіемъ и участіемъ относились они и ко всѣмъ реформамъ прошлаго царствованія, начиная съ крестьянской и кончая вопросомъ о свободѣ женщинъ. Замѣчательно, что, согласно своему ученію, женскій вопросъ они, въ свою очередь, поставили на традиціонную почву. Такъ, въ статьѣ своей о былинахъ Владимірова цикла К. Аксаковъ, между прочимъ, говоритъ:

„Женщины былинъ часто носятъ куяки, панцири, кольчуги, также выѣзжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ никогда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи Королевишны, супруги великаго князя Владиміра, отличавшейся влюбчивымъ сердцемъ. Такова жена Ставра боярина, Василиса Миклушина. Прибавимъ въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ совершенно русскій Царь-Дѣвица; вспоминаю преданія объ Амазонкахъ, о Чешской Властѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиной независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у славян“.

Наконецъ, не мѣшаетъ обратить вниманіе еще на одну черту славянофиловъ,—правда мелкую и нѣсколько даже комическую, но которую исторія, конечно, не забудетъ поставить на видъ,—именно, ту самую страсть наряжаться въ національные костюмы, надъ которою такъ потѣшались петербургскіе оппортунисты, что даже славянофильская мурмолка вошла въ пословицу. Не нужно забывать, что страсть эта проявлялась въ такое время строгаго бородобритія, общей затынутости и подтянутости, когда малѣйшее отступленіе отъ общепринятой формы возбуждало не только презрѣніе со стороны чопорныхъ хранителей свѣтскости, какъ *mauvais ton*, но и вни-

маніе полиціи, какъ нѣчто подозрительное. Много нужно было мужества, чтобы въ тѣ времена являться среди московскихъ улицъ и салоновъ въ охабняхъ, высокихъ шапкахъ и съ пушистыми бородами, несмотря на всѣ толки, насмѣшки и полицейскія внушенія. Люди, проводящіе неуклонно свои принципы въ жизни до мелочей, всегда возбуждали сочувствіе въ каждомъ мыслящемъ чловѣкѣ, и особенно заслуживаютъ этого сочувствія славянофилы, которые въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ одни только дерзали проявлять хотя какую-нибудь самостоятельность въ области мысли и въ жизни.

IV.

Славянофиламъ не удалось выставить такихъ талантливыхъ и блестящихъ критиковъ, какихъ мы находимъ въ западническомъ лагерѣ, но нельзя отрицать ихъ вліянія на ходъ развитія нашей изящной литературы. Изъ славянофильскаго лагеря пошли первые пионеры въ народъ собирать пѣсни, сказки, пословицы, изучать обряды, повѣрья, міросозерцанія и идеалы народа. Въ то же время славянофилы первые возстали на то поверхностное, высококомѣрно-барское отношеніе къ народу, какое господствовало въ литературѣ нашей въ пятидесятихъ годахъ. Такъ, К. Аксаковъ въ *Московскомъ Сборникѣ* 1847 г. вотъ что говоритъ по поводу повѣсти кн. Одоевскаго изъ народной жизни *Сиротинка*:

„Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа.—когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ заговоритъ снисходительно о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненно-великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ передъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимся. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобъ узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего: ему стоитъ только свизойти написать о немъ. Противно видѣть, когда онъ, для вѣрнѣшаго изображенія, прибѣгаетъ къ народному, будто бы, оттѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха черезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно, когда пишутъ для народа,—оскорбительны“.

Не говоря уже о такихъ писателяхъ, какъ Островскій и Писемскій, начавшихъ свое поприще на страницахъ *Москвитянина*, и потому можно сказать, вышедшихъ прямо изъ славянофильскаго лагеря, но и всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, не исключая такихъ западниковъ, какъ Некрасовъ и Тургеневъ, не миновали, хотя бы косвеннаго, вліянія славянофильской критики въ видѣ стремленія къ самобытности и народности. Такъ, напримѣръ, конечно славянофиламъ обязанъ былъ Тургеневъ своимъ сужденіемъ о Рудинѣ, которое онъ высказываетъ словами Лежнева:

„Несчаствіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно большое несчаствіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ,—двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитъ—нуль, хуже нуля; въ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ фizioноміи нѣтъ даже и идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ фizioноміи“.

Въ то же время въ эстетическомъ отношеніи славянофилы одни только въ теченіе пятидесятихъ годовъ строго блюли завѣтъ конца сороковыхъ годовъ, постоянно ратуя за идейность въ искусствѣ, требуя, чтобы худож-

ники были въ то же время пророками, обличителями и проповѣдниками высшихъ идеаловъ своего времени. Это требованіе осуществляли они и на практикѣ, являясь во всѣхъ своихъ художественныхъ произведеніяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и повѣстяхъ неизмѣнными пропагандистами своихъ излюбленныхъ ученій; то же самое проповѣдывали и въ теоріи—со своею обычною прямою и рѣзкою. Такъ, К. Аксаковъ, въ одной изъ своихъ критическихъ статей категорически заявляетъ:

„Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ изображенія той или другой мысли. Извѣстную анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ, произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи изысканій, изслѣдованій, трудныхъ эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха“.

На этомъ основаніи К. Аксаковъ, привѣтствуя *Губернскіе очерки* Щедрина, между прочимъ, говорилъ:

„И въ добрый часъ! Намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ—и вотъ главная причина ихъ успѣха! Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что *это—существенный элементъ литературы нашей*. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественныя искаженія, слышное даже тамъ, гдѣ авторъ, повидимому, въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ, и успѣхъ *Губернскихъ очерковъ* есть утѣшительное явленіе“.

Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи рѣчь Хомякова, сказанная имъ на засѣданіи Общества любителей русскаго слова 4-го февраля 1859 года, въ отвѣтъ на вступительное слово графа Льва Толстого, который въ то время высказывалъ взгляды на искусство, діаметрально противоположные нынѣшнимъ его взглядамъ, и былъ рьяный приверженецъ теоріи чистаго искусства. Считаемо нелишнимъ привести рѣчь Хомякова цѣликомъ:

„Общество любителей русскаго словесности, включивъ васъ, графъ Левъ Николаевичъ, въ число своихъ дѣйствительныхъ членовъ, съ радостью привѣтствуетъ васъ, какъ дѣятеля чисто-художественной литературы. Это чисто-художественное направленіе защищаете вы въ своей рѣчи, ставя его высоко надъ всѣми другими временными и случайными направленіями словесной дѣятельности. Странно было бы, если бы общество вамъ не сочувствовало въ этомъ; но позвольте мнѣ сказать, что правота вашего мнѣнія, вами столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ временнаго и случайнаго въ области слова. То, что неизмѣнно, какъ самыя коренныя законы души, то, безъ сомнѣнія, занимаетъ и должно занимать первое мѣсто въ мысляхъ, побужденіяхъ и, слѣдовательно, въ рѣчи человѣка. Оно, и оно одно, передается поколѣніемъ поколѣнію, народомъ народу, какъ дорогое наслѣдіе, всегда множимо и никогда не забываемое. Но, съ другой стороны, есть, какъ я имѣлъ уже честь сказать, постоянное требованіе самообличенія въ природѣ человѣка и въ природѣ общества, есть минуты, и минуты важныя, въ исторіи, когда это самообличеніе получаетъ особенныя, неопровержимыя права и выступаетъ въ общественномъ словѣ съ большею опредѣленностью и большею рѣзкостью. Случайное и временное въ историческомъ ходѣ народной жизни получаетъ значеніе всеобщаго, всечеловѣческаго уже и потому, что всѣ поколѣнія, всѣ народы могутъ понимать и понимаютъ болѣзненные стоны и болѣзненную исповѣдь человѣка какого-нибудь поколѣнія или народа. Права словесности, служительницы вѣчной красоты, не уничтожаютъ правъ словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся цѣлительницею общественныхъ язвъ. Есть безконечная красота въ невозмутимой правдѣ и гармоніи души, но есть истинная, высокая красота и въ покаяніи, возстановляющемъ правду и стремящемъ человѣка или общество къ нравственному совершенству“.

„Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлить мнѣнія, какъ мнѣ кажется односторонняго, германской эстетики. Конечно, искусство вполне свободно; въ самомъ себѣ оно находитъ оправданіе и цѣль. Но свобода искусства, отвлеченно понятаго, нисколько не относится къ внутренней жизни самого художника. Художникъ не теорія, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ—человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обыкновенно лучшій его представитель, весь проникнутый его духомъ и его опредѣлившимися или зарождающимися стремленіями. По самой впечатлительности своей организаціи, безъ которой онъ не могъ бы быть художникомъ, онъ принимаетъ въ себя и болѣе другихъ людей всѣ болѣзненныя, такъ же какъ и радостныя ощущенія общества, въ которомъ онъ родился. Посвящая себя истинному и

прекрасному, онъ невольно, словомъ, складомъ мысли и воображенія, отражаетъ современное въ его смѣнѣ правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ея гармоническое спокойствіе. Такъ сливаются двѣ области, два отдѣла литературы, о которыхъ мы говорили; такъ, писатель, слугитель чистаго художества, дѣлается иногда обличителемъ даже безъ сознанія, безъ собственной воли и иногда противъ воли. Вастсамыхъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ. Вы идете вѣрно и неуказно по сознанному и опредѣленному пути; но неужели вы вполне чужды тому направленію, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хотя бы въ картинѣ чахоточнаго ящика, умирающаго на печкѣ, въ толпѣ товарищей, повидимому равнодушныхъ къ его страданіямъ, вы не обличали какой-нибудь общественной болѣзни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали отъ этой мозолистой безчувственности добрыхъ, но не пробужденныхъ душъ человѣческихъ? Да, и вы были, и вы будете обличителемъ. Идите съ Богомъ по тому прекрасному пути, который вы избрали,—идите съ тѣмъ же успѣхомъ, которымъ вы увѣчались до сихъ поръ, или еще съ большимъ, ибо вашъ даръ не есть преходящій и скоро исчерпываемый: повѣрьте, что въ словесности вѣчное и художественное постоянно принимаетъ въ себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что всѣ разнообразныя отрасли человѣческаго слова безпрестанно сливаются въ одно гармоническое цѣлое“.

Согласитесь, что болѣе горячаго и краснорѣчиваго защитника теоріи искусства для жизни не было въ русской литературѣ. Понятно, что группировавшійся вокругъ *Современника* кружокъ литераторовъ во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ находилъ себя болѣе солидарнымъ со славянофилами, чѣмъ съ петербургскими оппортунистами того времени. Такъ, въ *Современникѣ* 1857 г., въ LXVI, въ *Замѣткахъ о журналахъ*, которые въ то время велъ Чернышевскій, мы читаемъ слѣдующее сужденіе о славянофилахъ:

„Читатели, зная нашъ образъ мыслей, не могутъ, конечно, предполагать въ насъ особеннаго расположенія къ тѣмъ примѣсамъ славянофильской системы, которыя находятся въ противорѣчій и съ идеями, выработанными современною наукою, и съ характеромъ нашего времени. Но мы повторямъ, что выше этихъ заблужденій есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. И если уже должно дѣлать выборъ, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ убѣжденій, которое часто покрывается этикой вѣрности западной цивилизаціи. причѣмъ подъ западною цивилизаціею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукою, и факты наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною, личною“.

V.

Но славянофильство, подобно западничеству, не могло остаться въ томъ чистомъ видѣ, въ какомъ мы видѣли его въ ученіи первыхъ славянофиловъ. Реакція пятидесятихъ годовъ не замедлила и его подвергнуть своему растлѣвающему вліянію. Изъ него выдѣлился своего рода оппортунизмъ, такой же безхарактерный, мутный и двуличный, какъ и петербургскій, и даже, какъ увидимъ ниже, вступившій съ нимъ въ союзъ. Такова была славянофильская фракція, носившая первоначально прозвище *почвенниковъ*, а впослѣдствіи, въ шестидесятые года, получившая кличку *стрижей*.

Фракція эта въ пятидесятые года группировалась вокругъ *Москвитянина*, впослѣдствіи же, въ шестидесятые года, она имѣла въ своемъ распоряженіи два петербургскіе журнала: *Время*, издававшееся съ 1861 по 1863 г., и *Эпоху*—съ 1864 по 1865 годъ. Оба журнала издавались Мих. Достоевскимъ въ сообществѣ съ братомъ его Фед. Достоевскимъ.

Желая плыть по теченію, что и составляетъ суть всякаго оппортунизма почвенники отказались отъ тѣхъ послѣдовательныхъ выводовъ, которые

дѣлая славянофильство непопулярнымъ, тѣмъ не менѣ составляли всю оригинальность и, такъ сказать, цвѣтъ этого ученія. Такъ, они перестали выдвигать на первый планъ византийство и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь. вмѣстѣ съ тѣмъ они отказались отъ основного положенія славянофиловъ, именно отъ предположенія просвѣтительной роли Россіи въ будущемъ, какъ осуществительницы великихъ гуманныхъ идей, какія тщетно пытается осуществить Западная Европа. вмѣсто этой грандіозной миссіи, построенной на основахъ гегелёвской философіи, они, опираясь якобы на новыя положительныя данныя, начали проповѣдывать, что каждая народность отъ самаго начала своего существованія слагается въ особенный типъ въ родѣ родовъ и видовъ животнаго царства, и, подобно тому, какъ курица не можетъ превратиться въ гуся, такъ и народность не въ состояніи отдѣлаться отъ своихъ особенностей. Такимъ образомъ по самому существу ученіе почвенниковъ, въ отличіе отъ славянофильскаго, предвидѣннаго въ будущемъ всемірно-историческій прогрессъ, является фаталистически-консервативнымъ. Всякая солидарность народностей отрицается. Каждая народность развиваетъ свои самобытныя начала, отказаться отъ которыхъ не въ состояніи и передать не можетъ, и единственнымъ отношеніемъ между народами является вѣчная борьба не на-животъ, а на-смерть различныхъ враждебныхъ началъ. Такова борьба Запада Европы съ Востокомъ, германскаго міра съ славянскимъ, которая должна кончиться лишь полнымъ уничтоженіемъ одного изъ этихъ двухъ враждующихъ міровъ.

Въ такомъ видѣ является это мрачное ученіе въ сочиненіяхъ главныхъ представителей его: Н. Я. Данилевскаго—*Россія и Европа* и Н. Страхова—*Борьба съ Западомъ въ русской литературѣ*, и проч. Нужно только вспомнить обстоятельства того времени, когда возникло это ученіе, эпоху всеобщаго разочарованія послѣ 1848 года и мрачной реакціи, подъ гнетомъ которой и подъ флагомъ націонализма таился глубокой раздоръ, раздѣлавшій всю Европу; наконецъ, слѣдуетъ принять во вниманіе только-что разгоравшуюся крымскую войну, и вы поймете, какъ подъ влияніемъ и впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ идеалистическое и гуманное славянофильство переродилось въ чловѣконенавистническое ученіе почвенниковъ.

Но, направивъ по теченію свои взгляды въ общихъ ихъ основаніяхъ, почвенники и въ частностяхъ не замедлили поступиться смѣлыми славянофильскими крайностями въ пользу господствовавшей реакціи. Основное положеніе ихъ ученія, гласящее, что народъ не въ силахъ освободиться отъ своихъ особенностей, дало имъ возможность, подъ внѣшнимъ слоємъ наносныхъ вліяній, искать эти особенности и въ личности Петра со всѣми его реформами, и въ послѣдующемъ развитіи интеллигенціи, и въ литературныхъ произведеніяхъ, начиная съ Кантемира и кончая беллетристами сороковыхъ годовъ. Такимъ образомъ, и волки оказались сыты, и овцы цѣлы. Здѣсь уже мы не видимъ того радикальнаго отрицанія всего петербургскаго періода и оторванной отъ народа интеллигенціи, которое такъ пугало администрацію въ славянофілахъ. Всему

воздается своя доля справедливости, и выходитъ въ концѣ-концовъ нѣчто крайне туманное, темное и противорѣчивое.

Главнымъ, наиболѣе талантливымъ и виднымъ критикомъ почвенниковъ былъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. Онъ родился въ 1822 году. Отецъ его былъ секретаремъ губернскаго магистрата. Послѣ домашняго воспитанія, 17 лѣтъ поступилъ въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ и въ 1843 г. окончилъ курсъ первымъ кандидатомъ съ золотою медалью. Сначала онъ служилъ въ Москвѣ, секретаремъ университетскаго правленія, затѣмъ въ Петербургѣ въ Управѣ благочинія и въ Сенатѣ. Съ 1845 года началъ онъ сотрудничать въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Репертуарѣ* и *Пантеонѣ*, гдѣ помѣщались его стихи, критическія и театральныя рецензіи, переводы и пр. Въ 1846 г. онъ издалъ томикъ своихъ стихотвореній, но былъ оцѣненъ Бѣлинскимъ не вполне благосклонно. Въ 1847 г. онъ снова вернулся въ Москву, гдѣ поступилъ на службу учителемъ законовѣдѣнія въ 1-й московской гимназіи. Около этого времени Григорьевъ женился на Л. Ф. Коршѣ. Въ 1851-мъ же году началось его сотрудничество въ *Москвитянинѣ*, гдѣ онъ всталъ во главѣ литературнаго кружка, извѣстнаго подъ именемъ «молодой редакціи Москвитянина». Это и былъ тотъ самый «молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями», по выраженію Григорьева, кружокъ, который получилъ въ послѣдствіи извѣстность въ литературѣ подъ именемъ почвенниковъ. Въ составъ его входили: Островскій, Писемскій, Алмазовъ, А. Потѣхинъ, Мельниковъ-Печерскій, Эдельсонъ, Мей, Н. Бергъ, Горбуновъ и др. Вставши во главѣ журнала, Григорьевъ былъ главнымъ его критикомъ и полемистомъ въ той ожесточенной борьбѣ, которая вскорѣ возгорѣлась между *Москвитяниномъ* и петербургскими журналами—*Отечественными Записками* и *Современникомъ*, и продолжалась до прекращенія *Москвитянина* въ 1856 г.

По прекращеніи *Москвитянина* Григорьевъ работалъ въ *Русской Бесѣдѣ*, *Библиотекѣ для Чтенія*, въ *Русскомъ Словѣ*, гдѣ былъ одно время даже редакторомъ, въ *Русскомъ Мирѣ*, *Свѣточѣ*, *Сынѣ Отечества*, *Русскомъ Вѣстникѣ*, но лишь во *Времени*, основанномъ братьями Достоевскими въ 1861 году, ему удалось устроиться сколько-нибудь прочно, какъ въ органѣ дружественнаго направленія. Но *Время* было закрыто въ 1863 году, и Григорьевъ принужденъ былъ перекочевать въ еженедѣльный *Якорь*, гдѣ онъ былъ редакторомъ и помѣщалъ очень живыя театральныя рецензіи. Въ 1864 году, вмѣсто погибшаго *Времени* возникла *Эпоха*, съ цѣлюю проводить идеи именно почвенниковъ. Григорьевъ не замедлил войти въ составъ сотрудниковъ въ качествѣ перваго критика, но дни его были уже сочтены. Его сгубила общая столь многимъ талантливымъ людямъ слабость, которую приобрѣлъ онъ еще въ юности. Въ 1864 году его не стало.

Кромѣ своей критической дѣятельности, Григорьевъ былъ извѣстенъ въ литературѣ, какъ одинъ изъ лучшихъ въ свое время переводчиковъ. Такъ, онъ перевелъ три драмы Шекспира: *Сонъ въ лѣтнюю ночь*, *Венеціанскаго купца*, *Ромео и Джульетту*; переводилъ изъ Байрона, Мольера, Делявиня и проч.

Замѣчательно, что, будучи родоначальникомъ почвенниковъ и главнымъ ихъ представителемъ, Григорьевъ, тѣмъ не менѣе, отличался отъ нихъ

такимъ живымъ демократическимъ духомъ, который сближалъ его до извѣстной степени съ чистыми славянофилами.

Это былъ человѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и вполне народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомеріе, изнѣженность, нервность, рисовка, всяческая ложь, распущенность, извращенность, имѣли въ немъ заклятаго врага. И, напротивъ того, идеалами его были: искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго жизненнаго явленія, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться. Погоня его за народными идеалами доходила у него порою до комическаго донкихотства. Никогда, конечно, не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его, при появленіи на сценѣ Любима Торцова, разразиться въ *Москвитянинѣ* нескладными стихами, воспѣвающими этого героя, который

Стоитъ съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской чистою душой.

Въ то же время, какъ извѣстно, всѣ изображаемые въ произведеніяхъ словесности типы онъ дѣлилъ на два разряда: хищные и кроткіе, причемъ въ хищныхъ типахъ онъ видѣлъ отступленіе отъ живыхъ и естественныхъ народныхъ идеаловъ, нѣчто наносное, плодъ чуждыхъ, западныхъ вліяній, между тѣмъ какъ въ кроткихъ типахъ полагалъ воплощеніе чисторусской души, преисполненной любви и смиренія. Поэтому онъ не со-всѣмъ долюбливалъ Лермонтова за его Печорина и въ то же время преклонялся передъ «Повѣстями Бѣлкина», видя въ этомъ Бѣлкинѣ олицетвореніе кроткаго типа и побѣду надъ всѣми прежними хищными идеалами, которыми Пушкинъ увлекался подъ вліяніемъ Байрона. Впослѣдствіи эту погоню за кроткими идеалами А. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что, когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ женитьбѣ Обломова на Агафѣѣ Федосѣевнѣ нравственное паденіе, А. Григорьевъ одинъ изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая конечно въ то время показала всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу *Дворянскаго Гнѣзда*, въ *Русскомъ Словѣ* 1859 года, мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки:

„Герои нашихъ дней не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ, да и героини нашей эпохи тоже не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою, вопреки многимъ грандіознымъ сторонамъ ея натуры, показываетъ намъ авторъ, выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчною и безцѣльною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ, Богъ знаетъ, чего-то. Я почти увѣренъ, что она будетъ умирать, какъ барыня въ *Трехъ Смертяхъ* Толстого. Ужъ если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агафью Федосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовить пироги, а потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга“.

Эта же самая демократическая жилка привела его къ глубокой ненависти къ петербургскимъ оппортунистамъ и поклонникамъ чистаго искусства, которыхъ онъ называлъ дилетантами и ставилъ ниже даже всякаго рода нежалуемыхъ имъ теоретиковъ. Такъ, въ *Русскомъ Мирѣ* 1860 г., въ статьѣ *Послѣ «Грозы» Островскаго*, онъ, между прочимъ, говоритъ:

„Нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т. е. теоріи, родившейся вълѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо дилетантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить, съ дилетантами — нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоло-жертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многого стоить. Дилетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, — голосами почвъ, мѣстностей, народностей, построеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про блага бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ ровно ничего не стоитъ! Нѣтъ, я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху, — въ какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибелинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ до сего дня, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотятъ придать этому званію дилетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи разединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ. Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которые служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ — организмовъ во времени и народовъ — организмовъ въ пространствѣ“.

Но, примыкая всѣми лучшими сторонами своего мышленія къ славянофиламъ, А. Григорьевъ значительно отступаетъ отъ нихъ, и эти-то вотъ отступленія и составляютъ самые слабые пункты его взглядовъ; они-то и повели къ развитію ученія почвенниковъ и въ то же время приблизили А. Григорьева и особенно его послѣдователей къ петербургскимъ оппортунистамъ, которыхъ онъ такъ ненавидѣлъ, называя ихъ дилетантами.

Великое несчастіе А. Григорьева заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся нѣмецкою метафизикою, заблудился въ ея лабиринтахъ и остался въ нихъ навсегда, причемъ всѣ его неотъемлемо прекрасные инстинкты затемнились и расплылись въ мышленіи его въ туманныя, абстрактныя и противорѣчивыя формулы. Въ этомъ отношеніи судьба зло и ехидно подемялась надъ нимъ: не обидно ли было, что онъ, всю жизнь непрестанно ратовавшій за самостоятельность русской мысли и русскаго искусства, всю жизнь оставался подавленнымъ тяжелымъ гнетомъ неперевареннаго нѣмецкаго гелертерства; онъ, преклонявшійся передъ простотою и ясностью русской мысли, окончательно утратилъ это драгоценное качество русскаго ума и сдѣлался способенъ писать не иначе, какъ темными, туманными, абстрактно-философскими, безконечно-длинными періодами на нѣмецкій образецъ, въ которыхъ порою трудно добраться до какого бы то ни было смысла, и изобрѣталь, къ тому же, новые, неудачные и курьезные термины, въ родѣ, напримѣръ, *допотопныхъ талантовъ*, возбуждая этими терминами общій хохотъ въ литературѣ.

Исходя изъ философіи Шеллинга, А. Григорьевъ искусство ставилъ выше всѣхъ прочихъ отраслей человѣческой дѣятельности, считая его лучшимъ изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ, давалъ ему руководящую роль въ движеніи человечества, признавалъ за нимъ однимъ право и способность сказать «новое слово». Идеаль души человѣческой, по его ученію, всегда и вездѣ остается неизмѣненъ; но въ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна только *цветная* истина, какъ выражался А. Григорьевъ; ея выраженіе есть художество: отвлеченная, голо-логическая мысль всегда понимаетъ и судитъ жизнь уже, одностороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только

созерцаніемъ и чувствомъ вполнѣ поняты проявленія одного и того же идеала въ различныхъ формахъ историческихъ эпохъ и народностей.

Такимъ образомъ искусство по самой сущности *народно*. Творчество заключается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, т. е. образовъ, представляющихъ опредѣленный, органически цѣльный складъ душевной жизни, носящій на себѣ печать извѣстной народности. Истинная критика должна опредѣлять, разяснять это типическое народное выраженіе идеаловъ въ искусствѣ. Связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, усматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, она углубляется въ самый жизненный вопросъ, и такую критику А. Григорьевъ называлъ *органическою*, въ отличіе отъ *исторической* критики Блинскаго, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе идеаловъ, которыми и управляется жизнь, и отъ *эстетической*, совершенно отвлеченной отъ жизни.

Такой идеалистическій взглядъ на искусство, видящій въ немъ высшую человѣческую дѣятельность, придающій ему руководящую роль выраженія народныхъ идеаловъ, казалось бы, совершенно согласовался съ теоріей искусства для жизни и шелъ въ разрѣзъ съ теоретиками чистаго искусства. Тѣмъ не менѣе, какъ это ни странно, онъ-то именно и привелъ почвенниковъ ко взглядамъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасающимся со взглядами петербургскихъ оппортунистовъ-западниковъ, приверженцевъ чистаго искусства.

Требованіе, чтобы искусство олицетворяло идеалы жизни въ ихъ типическихъ народныхъ проявленіяхъ, прежде всего прямо отстраняетъ художниковъ отъ увлеченія какими-либо злобами дня; они должны проникать въ глубь народной жизни, отыскивая въ ней существенныя явленія, а не увлекаться преходящими вѣяніями времени. Но этого мало: воплощая народные идеалы, искусство должно примирять насъ съ жизнью. Поэтому высшее призваніе его заключается во всестороннемъ, объективно-безпристрастномъ и любовномъ изображеніи жизни. До такой высоты поэзія именно и достигаетъ въ художникахъ-геніяхъ, каковы: Шекспиръ, Гёте, Пушкинъ.



Аполлонъ Григорьевъ.

Всякое же одностороннее изображение жизни, исключительно положитель-ныхъ или отрицательныхъ ея элементовъ, есть уже отступление отъ истинной нормы искусства, уродство, фальшь. А. Григорьевъ не успѣлъ еще дойти до крайнихъ выводовъ этой теоріи и великими философскими ухищреніями старался оправдать и пессимизмъ Байрона, и хищничество Лермонтова. Но позднѣйшіе почвенники, и особенно Н. Страховъ ¹⁾, дошли до полного отрицанія въ области искусства ироніи, сатиры и какого бы то ни было отрицательнаго взгляда на жизнь и людей.

Такъ, въ своей статьѣ *Русская Литература (Русскій Вѣстникъ 1875 г., № 6)*, Н. Страховъ прямо говоритъ:

„Оно (т. е. искусство) можетъ употреблять иронію, можетъ достигать въ этомъ приемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ *Мертвыхъ Душахъ* изобразить полную картину русской жизни, конечно, не имѣлъ никогда и въ мысляхъ ограничиться одною ироніей; его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части *Мертвыхъ Душъ*) постепенно смягчить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьезнымъ рассказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни. Гоголь, какъ извѣстно, не справился съ задачею, за которую взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увѣренностью. Онъ потибу, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать новыя лица...

„Но прямое отношеніе къ предметамъ,—говоритъ далѣе Н. Страховъ,—которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако же не исчезло въ нашей литературѣ, а, напротивъ, продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалялась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали непрерывно употреблять иронію гиперболическую, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а, напротивъ, вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается, наконецъ, до того, что переходитъ въ чистое *глумленіе*, то-есть въ рѣчи совершенно бессмысленныя и самую свою безсодержательностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Въмѣсто ироніи явилось, такъ сказать, нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ. Такой приемъ представляютъ произведенія Щедрина и Некрасова. Ихъ приемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ, которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ середины между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественной мѣрой свойства предметовъ, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присылка перцу, что-нибудь язвительное или надрывающее. Поэтому они сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно произнируютъ и сыплютъ ироническими выраженіями безъ малѣйшаго повода.“

Въ предыдущей же главѣ мы видѣли, что петербургскіе западники-оппортунисты съ своихъ эстетически-эпикурейскихъ точекъ зрѣнія пришли къ тѣмъ же требованіямъ отъ искусства успокаивающаго и примиряющаго дѣйствія, безпристрастнаго и всесторонняго изображенія жизни, представляя образцомъ такой поэзіи того же Пушкина. Послѣ этого вполне понятно, что почвенники могли очень легко мириться съ петербургскими оппортунистами и появляться въ однихъ органахъ. Такъ, напримѣръ, А. Григорьевъ помѣщалъ свои статьи не въ однихъ славянофильскихъ и почвенныхъ органахъ, а также въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библиотекѣ для Чтенія*, *Русскомъ Словѣ*, гдѣ онъ былъ въ числѣ трехъ первоначальныхъ редакторовъ этого журнала; то же слѣдуетъ сказать и о Страховѣ.

¹⁾ Николай Николаевичъ Страховъ родился 16 октября 1828 г. въ Бѣлгородѣ (Кур. губ.). Отецъ его былъ преподаватель въ Бѣлгородской семинаріи. Рано лишившись его, Страховъ былъ воспитанъ дядею, ректоромъ костромской семинаріи. Окончивъ въ ней курсъ въ 1845 г., Страховъ поступилъ въ Спб. педагогическій институтъ, гдѣ получилъ степень кандидата въ 1851 г. по естественно-научному разряду. Въ 1861 г. онъ оставилъ педагогическую службу и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ въ журналѣ Достоевскихъ *Времени*, подвизаясь тамъ въ качествѣ полемиста, подъ псевдонимомъ Н. Коенцы, и обративъ на себя вниманіе рядомъ статей противъ публицистовъ радикальнаго лагеря. *Время*, какъ извѣстно, было закрыто за его безтактную статью *Роковой вопросъ*, по поводу польскаго восстанія. Затѣмъ онъ сотрудничалъ въ *Эпохѣ*, въ *Отеч. Запискахъ*, въ *Зарѣ* и пр. Умеръ 26 янв. 1896 г.

VI

Совершенно въ сторонѣ отъ почвенниковъ стоитъ Орестъ Федоровичъ Миллеръ, этотъ наиболѣе вѣрный послѣдователь славянофильскихъ первоучителей. О. Ф. Миллеръ родился 4-го авг. 1834 г. у чиновника таможеннаго вѣдомства Фридриха Миллера, проживавшаго въ Гапсалѣ. Рано потерявъ родителей, Миллеръ былъ воспитанъ въ домѣ дяди, Ивана Петровича Миллера, и тетки, Екатерины Николаевны, съ которою Миллеръ прожилъ до самой ея смерти, въ 1884 году. Воспитаніе получилъ онъ блестящее, много путешествовалъ съ родными и по Россіи, и за границей. Къ сожалѣнію, развитіе его носило идеалистически-отвлеченный характеръ и къ тому же въ немъ слишкомъ ужъ много было религіознаго элемента, въ видѣ бесѣдъ благочестивой тетушки, странниковъ и богомолковъ, посѣщавшихъ часто домъ Миллера, и т. п.

Въ 1851 году Миллеръ поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ на филологическій факультетъ. Это было самое глухое время въ русской жизни, и развитіе юноши въ университетскіе годы продолжало носить столь же односторонній характеръ. «Мы не знали ни кутежей, ни какихъ-либо романическихъ приключеній,—вспоминалъ впоследствии о своихъ университетскихъ годахъ Миллеръ,—насъ въ университетѣ занимали только наука, литература и искусство, понимаемая, пожалуй, слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ исторіей»...

Носясь такимъ образомъ постоянно въ сферѣ духовно-христіанскихъ идеаловъ, Миллеръ изъ всѣхъ русскихъ писателей наибольшую приверженность питалъ къ Жуковскому, написалъ даже стихи на его смерть и посвятилъ ему патристическую драму *Подвигъ матери*, которая въ 1854 году была поставлена имъ на сценѣ Михайловскаго театра. Въ 1852 году Миллеръ удостоился полученія золотой медали за сочиненіе о комедіяхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и Шаховскаго, а въ 1855 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, сталъ готовиться, по предложенію проф. Никитенко, къ магистерскому экзамену, выдержавши который, онъ выступилъ въ свѣтъ въ 1858 году съ своей магистерской диссертацией *О нравственной стихіи въ поэзіи*.

Диссертация эта, разсматривавшая памятники поэзіи всѣхъ народовъ исключительно съ духовно-нравственной стороны, насколько они соотвѣтствуютъ христіанскимъ идеаламъ любви, кротости, смиренія и возвышенія духа надъ грѣшною плотью, появилась со своимъ ультра-религіознымъ духомъ какъ разъ въ моментъ, когда вся литература находилась въ воинственномъ настроеніи, когда въ проповѣди самоотверженія и кротости готовы были видѣть нѣчто въ родѣ оправданія крѣпостнаго права, а въ смиреніи—молчалинство, и понятно, что всѣ критики встали на дыбы противъ злополучной диссертации; авторъ былъ сопричисленъ къ отсталымъ ретроgrадамъ такимъ властителемъ думъ того времени, какъ Добролюбовъ, въ *Современникѣ*, а вслѣдъ затѣмъ не менѣе сурово отнесся къ Миллеру въ *Атенѣ* Котляревскій.

Впечатлѣніе, произведенное этими рецензіями, было такъ сильно, что Миллеръ сдѣлался положительно опальнымъ человѣкомъ. Двери всѣхъ

редакцій были для него закрыты, и на него точно легла печать литературнаго отверженія. Не только отвѣтъ Котляревскому, но и никакая другая статья его въ теченіе трехъ лѣтъ не принималась ни одною редакціею. Даже при личныхъ встрѣчахъ съ нѣкоторыми представителями тогдашняго литературнаго міра отъ него просто отворачивались. Онъ до того началъ бояться своего имени, что, когда по поводу столѣтняго юбилея Шиллера ему пришлось прочесть пять публичныхъ лекцій въ залѣ второй гимназіи, на входныхъ билетахъ было просто обозначено: «лекціи о Шиллерѣ», безъ объявленія имени лектора. И даже впослѣдствіи, въ ноябрѣ 1863 г., приступивъ къ чтенію лекцій объ изученіи народной словесности въ Петербургскомъ университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, Миллеръ все еще опасался враждебной демонстраціи студентовъ.

Но всѣ эти опасенія были совершенно напрасны. Лекціи о Шиллерѣ прошли благополучно, публика встрѣтила оратора благосклонно, и онъ имѣлъ успѣхъ. Точно такъ же все обошлось благополучно и при началѣ университетскаго курса, и между Миллеромъ и студентами сразу установились добрыя отношенія, которыя, укрѣпляясь съ каждымъ годомъ, сдѣлали его любимцемъ молодежи и самымъ популярнымъ профессоромъ въ университетѣ, благодаря его высокимъ нравственнымъ качествамъ, цѣльности его душевнаго склада, непоколебимой и нелицепріятной вѣрности идеаламъ, гуманности въ отношеніи къ своимъ молодымъ слушателямъ, которымъ онъ никогда не отказывалъ ни въ добромъ совѣтѣ, ни въ посильной помощи.

Къ тому-же къ началу университетскаго курса Миллеръ значительно отрѣшился уже отъ своихъ ультра-мистическихъ взглядовъ на литературу; онъ успѣлъ къ этому времени познакомиться съ русскимъ народнымъ эпосомъ и съ сочиненіями славянофиловъ, въ ученіи которыхъ онъ увлекся самыми свѣтлыми ихъ сторонами, — именно народно-демократическими идеалами. Онъ пошелъ даже далѣе славянофиловъ, совершенно послѣдовательно рѣшивъ, что если становиться на почву отрицанія чуждыхъ и наносныхъ вліяній и требовать вполне самостоятельнаго развитія, исходящаго изъ глубины народнаго духа, то слѣдуетъ отрицать благотворность и византійскаго вліянія. Нетерпимость, доходящая до фанатизма, мертвенность, предпочтеніе «буквы» «духу» закона, аскетизмъ, схоластика и цезаре-паннизмъ, — все это, по его словамъ, тѣ теченія, которыя римско-языческаая разлагающаяся Византія, съ ея претензіей на міро-владычество, съ ея проповѣдью о подчиненіи божьяго Кесарю, обильною струею вливала въ свѣжіе мѣхи русской жизни, заражая ихъ мiasмами и наполняя началами, чуждыми славянской народности.

„Изъ Византіи, — говоритъ Миллеръ, — все болѣе и болѣе проникало къ намъ тотъ крайній аскетизмъ, который со своимъ рѣшительнымъ безучастіемъ въ текущей жизни вполнѣ объяснялся въ ней тѣмъ, что именно лучшіе люди могли совершенно отчуждаться въ возможности совладать съ общественными недугами. Перенесенный въ нашу скорѣ непочатую, чѣмъ испорченную почву, на которой была, стало быть, вполнѣ возможна борьба со зломъ, — аскетизмъ, не имѣя жизненныхъ основаній, дошелъ, однакоже раздражительно до такого крайняго развитія личности въ религіозной сферѣ, до такой, можно сказать, эгоистически утилитарной заботливости собственно о своей душѣ, что это уже прямо подавляющимъ образомъ дѣйствовало на славянскую общность и скорѣ совпадало съ западно-европейскимъ заслуживаніемъ лавровъ на небѣ“.

Главными трудами Миллера считаются его докторская диссертация, появившаяся въ 1870 году, подъ заглавіемъ: *Сравнительно-критическія*

наблюденія надъ словеснымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство кievское и, вышедшая въ 1874 г. первымъ изданіемъ, книга *Русскіе писатели послѣ Гоголя*, содержащая въ себѣ десять публичныхъ лекцій, читанныхъ Миллеромъ въ ноябрѣ 1874 года въ С.-Петербургскомъ собраніи художниковъ, съ цѣлью усиленія средствъ общества вспомошествованія студентамъ С.-Петербургскаго университета, въ которомъ онъ состоялъ тогда товарищемъ предсѣдателя.

Въ книгѣ о былинахъ Миллеръ сосредоточилъ около Ильи Муромца изслѣдованіе всѣхъ кievскихъ былинъ. По массѣ собраннаго матеріала и сдѣланныхъ выводовъ ничего еще не появлялось у насъ равнаго по объему книгѣ Миллера, которая по праву можетъ считаться единственнымъ до сихъ поръ полнымъ изслѣдованіемъ русскаго былевого эпоса. То обстоятельство, что, выйдя изъ народа, Муромецъ рисуется въ самомъ идеальномъ свѣтѣ, дало Миллеру основаніе назвать нашъ эпосъ *простонароднымъ* и отмѣтить какъ достояніе преимущественно простаго народа. Отсюда вытекло у него положеніе о необходимости обновленія изъ народа.

„Самъ собой,—говоритъ онъ въ послѣдней главѣ,—работою собственнаго ума народъ выработаетъ ученіе о взаимной помощи и братской любви и, храня его въ своихъ сказкахъ подъ прозвищемъ *глупости*, внесетъ его и въ литературу, и въ науку историческую, когда, наконецъ, наступитъ его пора“. И далѣе: „новымъ, здоровымъ и трезвымъ, изъ жизни выходящимъ идеализмомъ литература наша проникнется лишь тогда, когда въ ней проявятся связи съ народомъ, т. е. когда она изучитъ его глубоко, какъ онъ есть, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, а онъ получитъ возможность вносить въ нее свѣжіе соки, выдвигая изъ собственныхъ своихъ вѣдъ писателей, которые могли бы развить далѣе, перелить въ новыя, современнѣйшія, просвѣщенныя формы тѣ задатки глубокихъ и сомытныхъ идей, какія таитъ онъ въ своемъ безыскусственномъ эпосѣ“.

Эти самыя идеи лежатъ въ основѣ и второго его труда—*Русскіе писатели послѣ Гоголя*. Все развитіе русской литературы со временъ Петра онъ полагаетъ исключительно въ стремленіи освободиться отъ подчиненія западнымъ вліяніямъ и встать на самобытную народную почву, и въ степени этого освобожденія полагаетъ относительное достоинство произведеній русской словесности. Такъ, напримѣръ, сравнивая Пушкина съ Лермонтовымъ, Миллеръ замѣчаетъ:

„У Пушкина борьба своего собственнаго съ навѣяннымъ чужимъ успѣла завершиться, и національные элементы его поэзіи приняли широкое міровое значеніе; у Лермонтова же, въ силу его преждевременной смерти, борьба осталась незавершившеюся. До конца жизни мы видимъ у Лермонтова два перекрещивающіяся направленія: съ одной стороны, онъ сильно подвергся вліянію Байрона, которое выразилось у него гораздо глубже, рѣшительнѣе, властнѣе, чѣмъ у Пушкина; но, съ другой стороны, съ этимъ противнымъ боролось нѣчто другое, самобытное. Ошибочно мнѣніе тѣхъ, которые, не допуская въ Лермонтовѣ самобытности, говорятъ, что смерть постигла его во-время. Мы же, принимая во вниманіе силу его таланта, смѣемъ предположить, что самобытныя стороны взяли бы верхъ надъ чужимъ“.

Вотъ съ этой точки зрѣнія народной самобытности и разсматривалъ Миллеръ всѣхъ русскихъ писателей. Лекціи въ С.-Петербургскомъ университетѣ онъ читалъ до конца 1887 г., когда былъ уволенъ отъ занимаемой имъ каедры, съ назначеніемъ пенсіи въ 2,500 р. Въ 1889 г. 1-го июня онъ умеръ скоропостижно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I. Одичаніе общества и забвеніе идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятихъ. Статья Пирогова: *Вопросы жизни*, какъ образецъ этого одичанія.—II. Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи.—III. Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова.—IV. Біографическія данныя о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго.—V. Диссертация его: *Объ отношеніи искусства къ дѣйствительности*.

I.

Не болѣе семи лѣтъ продолжалась реакція пятидесятихъ годовъ, а тѣмъ не менѣе общество успѣло въ этотъ короткій періодъ времени совершенно одичать. Какъ-то не вѣрилось, чтобы это было то самое общество, которое такъ недавно еще увлекалось критическими статьями Бѣлинскаго, лекціями Грановскаго и философскими трактатами Искандера. Сороковые годы казались чѣмъ-то такимъ уже отдаленнымъ, что приходилось въ памяти людей, такъ недавно еще переживавшихъ эти годы, воскрешать ихъ путемъ историческихъ статей, какъ отдаленнѣйшую эпоху нашей исторіи.

Такой исторической характеръ носятъ статьи Н. Г. Чернышевскаго, печатавшіяся въ *Современникѣ* въ 1855 и 56-мъ годахъ, подъ заглавіемъ: *Очерки гоголевскаго періода*. Желая познакомить публику съ Бѣлинскимъ и съ его значеніемъ въ русской литературѣ и въ то же время не осмѣливаясь назвать его по имени, а именуя глухо авторомъ статей о Пушкинѣ, «критикомъ гоголевскаго періода», Чернышевскій дѣлаетъ массу выписокъ изъ Бѣлинскаго, словно имѣя дѣло не съ знаменитымъ критикомъ, умершимъ всего семь лѣтъ назадъ, а съ мало извѣстнымъ писателемъ, жившимъ за сто лѣтъ до того времени.

Изъ всего движенія сороковыхъ годовъ сохранились въ обществѣ одни смутныя и неопредѣленныя понятія о гуманности, гражданской честности и неподкупности; и въ то время, какъ старшее поколѣніе, допуская въ своей жизни массу компромиссовъ, держалось утонченнаго эстетическаго эпикуреизма, младшее ударялось въ суровый, аскетическій идеализмъ мистическаго, средневѣковаго характера.

До какой стени общество отставало въ то время отъ движенія европейской мысли, мы можемъ судить по статьѣ Н. И. Пирогова *Вопросы жизни*, напечатанной въ *Морскомъ Сборникѣ*, въ 23-мъ т. 1856 года, и произведшей такую всеобщую и шумную сенсацію, что всѣ журналы наперерывъ прославляли эту статью, почти цѣликомъ ее перепечатывали, и ни одного голоса не послышалось, который рѣшился бы обсудить ее критически и безпристрастно. Н. И. Пироговъ послѣ этой статьи сдѣлался въ глазахъ всѣхъ однимъ изъ представителей новаго движенія, изъ хирурга превратился въ педагога и былъ сдѣланъ попечителемъ сначала одесскаго, а потомъ кіевского округовъ.

Правда, сенсація, какую произвела статья Пирогова, обусловливалась тѣмъ, что она была напечатана въ официальномъ органѣ и представлялась какъ-бы новою правительственною программой воспитанія, шедшею

совершенно въ разрѣзъ съ прежнею. Но восхищались ею не за одну только эту новую программу, а въ каждой строкѣ видѣли бездну премудрости, нѣчто крайне передовое и выходящее изъ ряда вонъ. И вдругъ что же мы находимъ въ этой статьѣ?

Правда, въ основѣ ея лежала мысль, которая въ то время носилась въ воздухѣ, именно, что воспитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, не въ томъ, чтобы готовить чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невѣсть, а чтобы прежде всего приготовить человѣка. Но подъ этимъ многозначительнымъ словомъ скрывалась въ статьѣ Пирогова идея вполне средневѣковая, аскетическая. Изъ дальнѣйшаго развитія статьи оказалось, что узко-утилитарный характеръ воспитанія зависѣлъ отъ того, что въ обществѣ преобладало стремленіе къ земному счастью, и оно въ этомъ отношеніи все еще находилось на степени язычества.

„Вспомнимъ еще разъ,—говоритъ Пироговъ въ своей статьѣ,—что мы—христіане, и, слѣдовательно, главною основою нашего воспитанія служить и должно служить Откровеніе. Всѣ мы съ дѣтства не напрасно же ознакомились съ мыслью о загробной жизни, всѣ мы не напрасно же должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему. Вникая же въ существующее направленіе нашего общества, мы не находимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ, по крайней мѣрѣ жизни практической, и даже отчасти и умственной, мы находимъ рѣзко выраженное матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служить идея о счастьи и наслажденіяхъ въ жизни земной“.

Чтобы вывести общество наше изъ того опаснаго состоянія, какимъ представляется стремленіе къ земному счастью, существуетъ, по мнѣнію Пирогова, единственный путь: «приготовить насъ воспитаніемъ къ внутренней борьбѣ, неминуемой и роковой, доставивъ намъ всѣ способы и всю энергію выдерживать неравный бой».

„Каковъ долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбѣ?—спрашиваетъ Пироговъ, и затѣмъ отвѣчаетъ:—первое условіе: онъ долженъ имѣть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство. Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не дѣлайте одаренныхъ бессмысленными поклонниками мертвой буквы, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, суетными приверженцами грубаго матеріализма, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума“.

„Все, что есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ,—замѣчаетъ Пироговъ въ другомъ мѣстѣ,—искусство, вдохновеніе, наука,—не должно слишкомъ сродняться со вседневною жизнью; оно утратить свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ“.

Забывая о томъ, чтобы юноши не сдѣлались суетными приверженцами грубаго матеріализма, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета и холодными адептами разума, Пироговъ вмѣстѣ съ тѣмъ оберегаетъ и женщинъ отъ ложныхъ шаговъ на гибельномъ пути эмансипаціи:

„Воспитаніе,—говоритъ онъ,—наряжая, выставляя ее (т. е. женщину) на показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаетъ высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходить люди. Эмансипація—вотъ эта мысль. Паденіе—вотъ первый шагъ. Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордиться тѣмъ, что многого не знаетъ. Не всякій—врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язы общества... Если женскіе педанты, толкуя объ эмансипаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщины,—они правы. Если же они разумѣютъ эмансипацію общественныхъ правъ женщины, то они сами не знаютъ, чего хотятъ“.

Мы нарочно сдѣлали всѣ эти выдержки изъ статьи Пирогова, чтобы показать, какъ въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ мыслилъ одинъ изъ са-

мыхъ передовыхъ вождей общества, — человекъ, пользовавшійся всеобщимъ поклоненіемъ за необыкновенную чуткость и свѣтлость своихъ взглядовъ. Чего же можно было требовать въ то время отъ темной и полуобразованной массы?

II.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что общество было застигнуто эпохою реформъ совершенно врасплохъ, не будучи ни мало подготовлено къ ней. Ни у кого не было никакихъ опредѣленныхъ и сознательныхъ стремленій, никакой выработанной программы дѣйствій. Это было чисто стихійное возбужденіе, съ одной стороны, пессимистическаго характера, съ другой, — напротивъ того, исполненное восторженнаго оптимизма. Пессимизмъ былъ слѣдствіемъ неудачъ крымской кампаніи и сознанія общей распатанности и разстройства всей государственной машины; оптимизмъ же возбуждался ежедневно не только предвкушеніемъ великихъ историческихъ событій, которыя готовились пережить, въ родѣ освобожденія крестьянъ, земской и судебной реформъ, широкаго открытія университетскихъ дверей для людей всѣхъ сословій, но и въ виду такихъ мелочей, какъ дозволеніе курить на улицахъ, упрощеніе или полное уничтоженіе разнаго рода униформъ, допущеніе ношенія бородъ и т. п. Каждый день приносилъ слухи о новыхъ реформахъ и преобразованіяхъ, иногда самыя фантастическія и нелѣпыя. То начинали толковать объ уничтоженіи чиновъ и орденовъ; на другой день переносили столицу изъ Петербурга въ Москву; на третій — готовились къ измѣненію стараго стиля на новый, и т. п. Всѣ эти слухи и толки сильно электризовали толпу; и старъ, и младъ, убѣленные сѣдинами генералы, наравнѣ со студентами, напереы въ либеральничали другъ передъ другомъ, проникались гуманностью и неудержимымъ стремленіемъ къ прогрессу. Каждый день устраивались какія-нибудь многочисленныя сборища, то въ видѣ обсужденія преподаванія въ воскресныхъ школахъ, то студенческихъ сходокъ въ стѣнахъ университета, то ученыхъ юридическихъ диспутовъ, въ родѣ, на примѣръ, пренія Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси, и рѣдко такое собраніе обходилось безъ шумныхъ манифестацій и протестовъ.

Оживленіе это не замедлило отразиться и въ литературѣ. Она, въ свою очередь, исполнилась животрепещущаго содержанія. Журналы снова первымъ условіемъ существованія начали считать твердое и неуклонное проведеніе опредѣленнаго направленія. Правда, они всѣ наперерывъ либеральничали, увлекаемые общимъ духомъ времени; въ равной степени были преисполнены обличеніями взяточничества, административныхъ злоупотребленій и публицистическими статьями, смѣло обсуждавшими предстоявшія реформы и поднимавшими новые вопросы; тѣмъ не менѣе каждый изъ крупныхъ органовъ проводилъ теперь какія нибудь излюбленныя тенденціи. Такъ, вновь возникшій въ 1856 году *Русскій Вѣстникъ*, подъ редакцію Каткова и Леонтьева, съ самаго начала своего существованія и до 1862 года былъ приверженцемъ аристократическаго предствительства въ англійскомъ духѣ; *Современникъ* проповѣдывалъ демократическія идеи; *Отечественныя Записки* подъ редакцію Краевскаго и Дудышкина, равно какъ и угасавшая *Библиотека для Чтенія* продолжали

проводить бюрократо-оппортунистическіе принципы. Славянофилы выпустили свои органы въ видѣ *Русской Бесѣды* и газеты *День*; наконецъ, нѣсколько позже возникли органы оппортунистовъ-почвенниковъ: *Время* и *Эпоха*.

Что касается до газетъ, то онѣ значительно позже, лишь послѣ польскаго возстанія, съ 1863 года, въ свою очередь, сдѣлались органами различныхъ направлений; до этого же времени пользовались наибольшею популярностью лишь тѣ, которыя давали болѣе всякаго рода разнообразныхъ свѣдѣній, каковы были: *С.-Петербургскія Вѣдомости*, *Сѣверная Пчела*, *Московскія Вѣдомости*, *Сынъ Отечества*.

Но одними политическими вопросами, въ виду совершившихся великихъ реформъ, далеко не исчерпывается движеніе шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь встрѣтились и слились въ одинъ потокъ три различныя движенія, чѣмъ и обусловливается необыкновенная бурность и смутность этой эпохи.

Такъ, рядомъ съ движеніемъ политическимъ и съ проникновеніемъ народными демократическими идеалами мы видимъ философское движеніе въ видѣ воскресенія идей сороковыхъ годовъ и окончательнаго перехода мысли передового общества на реальную почву. Наконецъ, въ то же время при быстромъ распространеніи образованности въ среднихъ и бѣдныхъ слояхъ общества началось перемѣщеніе центра тяжести общественнаго движенія изъ дворянскихъ слоевъ общества въ разночинные, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ появленіе новыхъ идеаловъ, соответственныхъ этой средѣ, полную переработку всѣхъ этическихъ вопросовъ объ отношеніи личности къ семьѣ и къ обществу.

Эти три течения такъ тѣсно и неразрывно переплетались и такъ вліяли одно на другое, что присутствіе ихъ мы видимъ во всѣхъ событіяхъ и фактахъ того времени. Такъ, философское движеніе принесло съ собою увлеченіе естественными науками и создало огромную переводную литературу, причемъ общество наше впервые ознакомилось съ твореніями такихъ великихъ умовъ Европы, какъ Маколей, Бокль, Спенсеръ, Дарвинъ, Льюисъ, Молеюттъ и пр., и пр., и это вело за собою освобожденіе мысли отъ традиціонныхъ авторитетовъ, возбуждало критическое отношеніе ко всему, что до того времени казалось неприкосновеннымъ и неподлежащимъ сомнѣнію,—а тѣмъ самымъ содѣйствовало свободной и рациональной переработкѣ всѣхъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ. Въ то же время увлеченіе вопросами о народномъ благѣ, ведя за собою изученіе народной жизни и народныхъ идеаловъ, придавало демократическій характеръ не только стремленіямъ къ общественнымъ преобразованіямъ, но и выработкѣ личныхъ нравственныхъ идеаловъ.

Но какъ ни тѣсно было соприкосновеніе этихъ трехъ теченій и взаимное вліяніе ихъ другъ на друга, тѣмъ не менѣе, приглядываясь ближе и пристальнѣе къ жизни того времени, вы всегда будете въ состояніи отличить ихъ одно отъ другого. Такъ, среди массы общественныхъ и литературныхъ дѣятелей того времени вамъ ничего не стоить усмотрѣть, что одни наиболѣе увлекались политическими вопросами своего времени; другіе ставили на первый планъ вопросы философскіе, увлекались естествознаніемъ и славили наступленіе господства реализма; наконецъ, третьи болѣе всего увлекались вопросами этическими и моральными.

Но болѣе всего при этомъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что вся эпоха, такъ называемыхъ, шестидесятыхъ годовъ, занимающая собою десятилѣтїе, начиная съ 1855 года и по 1866-й, рѣзко распадается на два періода, гранью между которыми представляется освобожденіе крестьянъ. Такъ, мы видимъ, что до 1861 года движеніе имѣетъ характеръ преимущественно политической. Все общество является увлеченнымъ вопросами общественнаго характера, во главѣ которыхъ стоитъ, конечно, освобожденіе крестьянъ. Въ литературныхъ сферахъ въ этотъ періодъ замѣчается рѣдкое единодушіе и солидарность. Демократы *Современника*, аристократы *Русскаго Вѣстника*, оппортунисты *Отечественныхъ Записокъ* хотя и вступаютъ нерѣдко въ споры по разнымъ животрепещущимъ вопросамъ жизни въ родѣ, напримѣръ, спора *Современника* съ *Экономическимъ Указателемъ* и *Русскимъ Вѣстникомъ* объ общинѣ; хотя сатирическіе бичи, въ видѣ *Искры* или *Свистка* въ *Современникѣ*, хлещутъ направо и налево, тѣмъ не менѣе вы не видите еще въ литературныхъ сферахъ того антагонизма и непримиримой розни, какіе возникли съ 1862 года.

Совѣтъ иной характеръ представляетъ эпоха шестидесятыхъ годовъ во второмъ своемъ періодѣ. Несмотря на то, что реформы продолжаютъ (земская, судебная), на первый планъ выступаютъ теперь вопросы философскіе и моральные, начинается выработка новыхъ индивидуальнорасправленныхъ идеаловъ. Въ обществѣ въ то же время съ каждымъ годомъ развиваются все большая и большая рознь и антагонизмъ. Дѣлятся не только ужь на партіи, враждебныя въ политическомъ отношеніи (причемъ *Русскій Вѣстникъ* и *Московскія Вѣдомости* рѣшительно выступаютъ на реакціонный путь), но начинаютъ враждовать по философскимъ и моральнымъ вопросамъ.

Эти два періода шестидесятыхъ годовъ имѣли каждый своего представителя въ журналистикѣ и критикѣ. Вокругъ этихъ представителей группировались литературныя силы, и самые періоды носятъ ихъ названіе. Такъ, первый періодъ называютъ добролюбовскимъ; второй — писаревскимъ. И дѣйствительно, Добролюбовъ и Писаревъ являются какъ бы фокусами, въ которыхъ наиболѣе ярко сосредоточиваются духъ и характеръ обоихъ періодовъ. На этихъ двухъ представителяхъ критики шестидесятыхъ годовъ мы съ особеннымъ вниманіемъ остановимся.

III.

Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ дѣятельности Добролюбова, считаемъ не лишнимъ сдѣлать бѣглый обзоръ тѣхъ измѣненій критико-эстетическихъ взглядовъ и теорій, которыя совершились со смерти Бѣлинскаго и до начала дѣятельности Добролюбова.

Дѣло въ томъ, что какъ ни силенъ былъ разрывъ съ лучшими традиціями сороковыхъ годовъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, какъ ни велико было забвеніе этихъ традицій при полномъ господствѣ оппортунистической критики съ ея возвращеніемъ къ теоріи чистаго искусства, — все-таки не прекращалась нѣкоторая живая струйка, журчащая втихомолку; оставались люди, которые не только ничего не забыли, но, напротивъ того, имъ удалось значительно измѣнить эстетическіе взгляды и теоріи, господствовав-

шіе въ концѣ сороковыхъ годовъ, пересадить ихъ на почву положительнаго, реальнаго мышленія и такимъ образомъ подготовить дѣятельность Добролюбова.

Такая переработка эстетическихъ воззрѣній началась уже при жизни Бѣлинскаго, въ 1846 году, и первымъ новаторомъ является Валеріанъ Николаевичъ Майковъ.

Вал. Ник. Майковъ, род. 28 авг. 1823 г., въ той же семьѣ художника Ник. Ап. Майкова, изъ которой вышелъ и поэтъ Аполлонъ Майковъ. Получивъ прекрасное домашнее воспитаніе, Майковъ поступилъ на юридическій факультетъ Спб. университета и въ 19 л. окончилъ курсъ кандидатомъ. Опредѣлившись на службу, въ д-тъ сельскаго хозяйства, онъ недолго оставался тамъ и вышелъ въ отставку по слабости здоровья, причемъ отправился на полгода за границу, въ Германію, Францію и Италію. Возвратясь въ Петербургъ, онъ началъ свою литературную дѣятельность, сначала участвовалъ въ составленіи «Карманнаго словаря иностранныхъ словъ» Н. С. Кириллова; затѣмъ сталъ во главѣ основаннаго въ 1845 г. К. Θ. Дженнау «Финскаго Вѣстника». Въ теченіе 1846 и началѣ 1847 гг. онъ завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* Краевскаго. Въ 1847 году началъ сотрудничать въ *Современникѣ*. Но преждевременная смерть неожиданно прервала эту развертывающуюся литературную дѣятельность Майкова: 15 іюля 1847 г. Майковъ, гостя въ Петергофскомъ уѣздѣ, разгоряченный купался и умеръ во время купанья отъ удара.

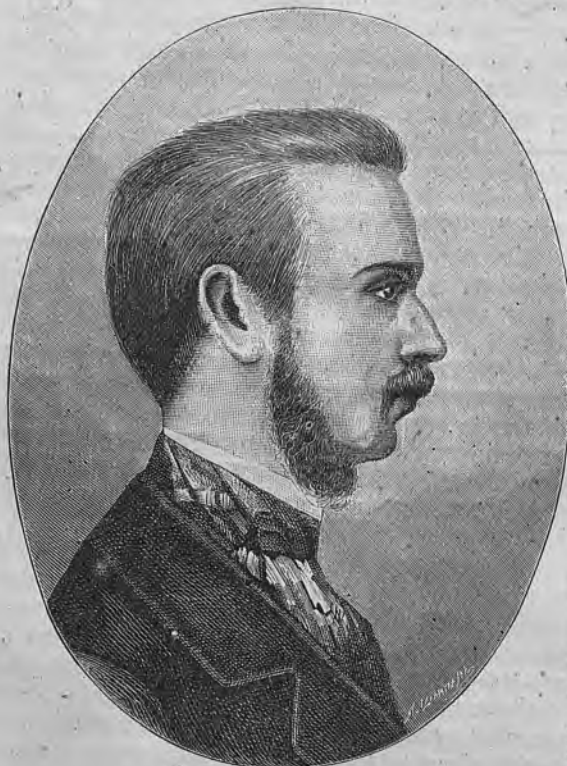
Мы видѣли, что уже Бѣлинскій установилъ въ критикѣ принципъ «искусства для жизни», но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика словно висѣлъ въ воздухѣ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держать старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онъ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ.

Въ самомъ дѣлѣ: сообразно этимъ теоріямъ, искусство имѣетъ совершенно особенную, свою самостоятельную область, вполне исчерпывающую все его значеніе. Область эта—*прекрасное*. Какъ бы мы затѣмъ ни опредѣляли, что такое—*прекрасное*, сообразно различнымъ философскимъ системамъ, и каково отношеніе творчества поэта къ этому прекрасному, находится ли прекрасное въ душѣ поэта, и поэтъ силою творчества облекаетъ прекрасное въ матеріальные образы, идеализируя дѣйствительность, или же прекрасное лежитъ въ самой дѣйствительности, заключается въ осуществленіи идеи въ чувственныхъ образахъ, и творчество поэта ограничивается лишь непосредственнымъ воззрѣніемъ, раскрытіемъ прекраснаго въ природѣ и жизни,—во всякомъ случаѣ утилитарный принципъ является въ полномъ противорѣчій со всѣми этими опредѣленіями. Съ ихъ точки зрѣнія вполне естественно кажется, будто онъ выводитъ искусство изъ его родной стихіи и навязываетъ ему совершенно чуждую роль, насилуетъ его, стремясь обратить въ нѣчто разсудочно-предназначенное процессъ творчества, по самому существу непосредственный и произвольный.

Бѣлинскій не обращалъ вниманія на это противорѣчіе старыхъ эстетическихъ теорій и утилитарнаго принципа; не замѣчалъ онъ и того, что эти старыя теоріи, вполне соответствовавшія прежнимъ эстетическимъ требованіямъ отъ искусства въ эпоху романтическихъ школъ, совершенно расходились съ новыми требованіями реальнаго искусства. Область искусства до

такой степени успѣла къ тому времени раздвинуться, что требовались немовѣрныя діалектическія натяжки, чтобы подвести подъ излюбленную идею прекраснаго многое, что производилось современнымъ искусствомъ, не говоря уже о томъ, что самое понятіе о прекрасномъ совершенно измѣнилось на почвѣ реального мышленія.

Въ самомъ дѣлѣ, разъ рушилось прежнее метафизическое воззрѣніе, что все существующее есть не что иное, какъ діалектическое развитіе безусловной идеи, должно было рушиться и воззрѣніе на прекрасное, какъ на со-



Валеріанъ Майковъ.

отвѣтствіе идеи и формы, но тогда что же такое прекрасное? А съ другой стороны—исчерпывается ли этимъ прекраснымъ область искусства? Какъ подвести подъ идею прекраснаго изображенія въ родѣ Чичикова или Ноздрева? А если прекрасное далеко не исчерпываетъ всего, что творитъ искусство, то въ чемъ же заключается роль послѣдняго? Отражать, списывать дѣйствительность во всемъ ея разнообразіи, добромъ и зломъ, прекрасномъ и безобразномъ? Но зачѣмъ?

Таковы вопросы, представившіеся всѣмъ умамъ, разставшимся съ прежними метафизическими теоріями и вступившими на реальную почву. Въ отвѣтъ на эти вопросы мы и видимъ въ литературѣ нашей первыя попытки пересадить эстетическія понятія на реальную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ согласовать утилитарный принципъ искусства съ эстетическими воззрѣніями.

вывести его прямо изъ нихъ. Валеріану Майкову принадлежитъ первая такая попытка. Суть его эстетическихъ воззрѣній, полнѣе всего выраженныхъ въ статьяхъ его о стихотвореніяхъ Кольцова (*От. Зап.* 1846 г., т. 49) и о романахъ В. Скотта (*От. Зап.* 1847 г., т. 51), заключается въ слѣдующемъ.

Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все, что мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою, и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, что намъ поэтому совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *занимательно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпа-*

тичной, т. е. все то, что мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствіе.

„Поэтому,—говоритъ Майковъ,—каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, что нисколько не напоминаетъ намъ о собственной нашей природѣ—это сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; во второй—все то, что въ немъ есть общаго съ нами, человѣкомъ; это—сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ *любовь*, сердечное, кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатлѣній, произведенныхъ на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное влѣбеть нами только въ силу своей новизны и дѣлается безразличнымъ тотчасъ же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать“.

Изъ этого отличія занимательнаго отъ симпатичнаго истекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что такъ или иначе относится къ намъ, что насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства. Такимъ образомъ «художественная мысль, по словамъ Майкова, зарождается въ формѣ любви или негодованія, и *тайна творчества—въ способности вѣрно изобразить дѣйствительность съ ея симпатичной стороны*. Иными словами, *художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)*».

Такова эстетическая теорія В. Майкова. Первое ея достоинство заключается въ томъ, что она стоитъ вполне на реальной почвѣ и въ то же время значительно расширяетъ сферу искусства согласно новымъ требованіямъ: сообразно ей сфера искусства заключается не въ одномъ только *прекрасномъ*, а въ изображеніи всего, что какъ бы то ни было относится къ намъ и возбуждаетъ въ насъ какія бы то ни было эмоціи. Въ то же время и принципъ утилитаризма не только не стоитъ въ противорѣчій съ этою теоріею, а прямо вытекаетъ изъ нея. Искусство сообразно теоріи Майкова является не безцѣльнымъ списываніемъ дѣйствительности, а возведеніемъ ея въ міръ человѣческихъ интересовъ. Интересы же бываютъ различные: узко-эгоистичные, грубо-матеріальные, низменные и высокіе общечеловѣческіе, альтруистическіе. Спору не можетъ быть, что съ какими бы интересами ни имѣло дѣло искусство, оно остается искусствомъ, но неоспоримо и то, что тѣмъ оно выше, достойнѣе и благотворнѣе, чѣмъ выше тѣ интересы, которымъ оно служить.

Къ сожалѣнію, В. Майковъ не успѣлъ развить свою замѣчательную теорію вполне обстоятельно и всесторонне. Но мысли, брошенные имъ въ немногихъ, оставшихся послѣ него, статьяхъ, не затерялись во мглѣ послѣдовавшей реакціи и не замедлили принести свои плоды.

Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ дальнѣйшимъ попыткамъ перенести эстетическія воззрѣнія на реальную почву, припомнимъ еще одинъ эпизодъ, относящійся къ концу сороковыхъ годовъ и имѣющій, безъ сомнѣнія, тѣсное сродство съ этими попытками. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1847 года, въ 53 т., была помѣщена статья, посвященная разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья эта, неизвѣстно кому принадлежащая, написана очень тяжелымъ философскимъ языкомъ и отличается крайнею темнотою и сбивчивостью изложенія, простирающеюся до того, что во многихъ мѣстахъ вы не разберете даже, говоритъ ли авторъ отъ себя или онъ приводитъ слова какого-либо нѣмецкаго эстетика, гдѣ

кончаетъ цитату и начинаетъ свои собственные сужденія. Между прочимъ, вы находите въ статьѣ слѣдующее мѣсто, весьма замѣчательное по отношенію къ новой эстетической теоріи, о которой будетъ рѣчь ниже:

„Точка зрѣнія умозрительной эстетики—но преимуществу практическая: искусство существуетъ только потому, что въ природѣ нѣтъ истинно-прекраснаго. Капитолійская и Медицейская Вены должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафтъ отъ всего случайнаго. Между тѣмъ искусство далеко не превосходитъ природу: вездѣ уступаетъ оно ей въ свѣжести и полнотѣ жизни. Въ этомъ-то смыслѣ, говоритъ Гёте, всѣ формы искусства имѣютъ въ себѣ нѣчто ложное, даже самыя вѣрныя, самыя прочувствованныя. Пусть спроситъ себя каждый, не обращались ли неволью его глаза въ трибунахъ во Флоренціи отъ Вены Медицейской на живыя, одушевленныя формы прекрасныхъ женщинъ, разсматривавшихъ статую, на ихъ прелести—застѣячивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ грѣшнымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во-сто разъ, не гармоничнѣе ли всякой прекраснѣйшей картины отзывается въ нашей душѣ Неаполитанскій залвъ въ своей очаровательной дѣйствительности? Но дѣла искусства и не заключается совсѣмъ въ такомъ неравномъ соперничествѣ. Оно есть языкъ, не что болѣе, какъ языкъ, чувственное выраженіе нашихъ чувственныхъ мыслей, ощущений и созерцаній¹⁾. И только по той причинѣ, что это индивидуальное содержаніе не можетъ быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говоритъ ими искусство“.

Въ 1847 году, когда появилась эта статья, на второмъ курсѣ филологическаго факультета С.-Петербургскаго университета учился будущій видный дѣятель русской литературы, Николай Гавриловичъ Чернышевскій. Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, когда началъ онъ трудничать въ разныхъ журналахъ, и могла ли статья эта принадлежать ему. Во всякомъ случаѣ насъ поражаетъ представленная нами выдержка изъ статьи тѣмъ, что мысли, выраженные въ ней, во многомъ сходятся съ идеями, приведенными въ извѣстной диссертациі Н. Г. Чернышевскаго: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*. Диссертация эта составляетъ важный шагъ въ развитіи эстетическихъ идей въ разсматриваемый нами періодъ. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ ней, сообщимъ краткія свѣдѣнія о жизни Н. Г. Чернышевскаго.

IV.

Николай Гавриловичъ Чернышевскій родился въ Саратовѣ 19-го іюня 1828 г. Отецъ его, Гавріилъ Ивановичъ, занимавшій сначала должность инспектора въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, затѣмъ былъ священникомъ, еще съ конца тридцатыхъ годовъ избраннымъ въ санъ благочиннаго, а съ 1856 г. занялъ мѣсто кафедральнаго протоіерея. Отлично зная языки греческій, латинскій и французскій, онъ обладалъ обширнымъ умомъ и добросовѣстнымъ отношеніемъ къ каждому дѣлу; честностью и сердечностью онъ снискалъ всеобщую любовь не только прихожанъ, но и всѣхъ, кому доводилось сталкиваться съ нимъ въ жизни.

Какъ единственнаго сына, ребенка холили, нѣжили и осыпали всевозможными ласками и попеченіями. Въ благочестивой, мирной и скромной семьѣ онъ жилъ счастливо и беззаботно въ условіяхъ самыхъ благоприятныхъ для умственнаго развитія. Сверхъ отца и матери, болѣзненной женщины, Чернышевскій особенно привязанъ былъ къ своей двоюродной сестрѣ, Любови Николаевнѣ. Страстная любительница чтенія, она читала и для себя, и для него, рассказывала ему, играла съ нимъ; онъ слушалъ

¹⁾ Курсивъ въ подлинникѣ.

ее съ увлеченіемъ и засыпаль вопросами. Ей же былъ обязанъ Чернышевскій и обученію грамотѣ; увлекла его Любовь Николаевна и музыкой: воспріимчивый мальчикъ выучился отъ нея играть на фортепіано.

Выучившись читать, онъ весь углубился въ чтеніе, употребляя на него все свободныя отъ ученія и отъ игръ съ товарищами часы. У отца его, какъ любителя чтенія, была значительная по тому времени библіотека, къ которой съ почтеніемъ относился даже Н. И. Костомаровъ, въ бытность свою въ Саратовѣ. Кромѣ того Чернышевскій пользовался книгами изъ библіотеки сосѣдей-помѣщиковъ, съ дѣтьми которыхъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. Онъ бралъ книги, гдѣ только можно, и читалъ ихъ съ жадностью, нерѣдко выписывая изъ нихъ въ тетрадки, которыхъ у него было много. До какой степени въ немъ съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства была развита страсть къ чтенію, можно заключить изъ того, что онъ не расставался съ книгою и продолжалъ читать, сидя за обѣдомъ или ужиномъ, и эту привычку сохранилъ до смерти; вполнѣдствіи во время обѣда онъ обыкновенно читалъ газеты и журналы.

Считая излишнимъ отдавать сына въ духовное училище, Гавріиль Ивановичъ самъ приготовилъ его къ поступленію въ семинарію, причемъ особенно налегалъ на древніе языки, такъ что Чернышевскій еще до поступленія въ семинарію могъ переводить нѣкоторыхъ классиковъ. Въ 1842 г. Чернышевскій былъ принятъ въ Саратовскую семинарію, въ классъ реторики, на пятнадцатомъ году отъ рожденія. Въ это время, по словамъ товарища его, А. И. Розанова, онъ былъ нѣсколько болѣе средняго роста, съ необыкновенно вѣжнымъ, женственнымъ лицомъ; волосы его были свѣтло-желтые, но волнистые, мягкіе и красивые; голосъ тихій; рѣчь пріятная; вообще это былъ юноша, какъ самая скромная, симпатичная и невольно располагающая къ себѣ дѣвушка. Къ несчастью, онъ былъ крайне близорукъ: книгу или тетрадь держалъ всегда у самыхъ глазъ, а писалъ, наклонившись къ самому столу.

Бойкій, рѣзвый и разговорчивый съ близкими знакомыми и сверстниками, Чернышевскій былъ застѣнчивъ съ людьми мало знакомыми; въ гости его брали противъ желанія, и онъ обыкновенно сидѣлъ бирюкомъ, храня глубокое молчаніе.

Поступивши въ семинарію, Чернышевскій, будучи обязанъ по уставу обучаться одному живому языку, изъявилъ желаніе изучать два: французскій и татарскій. Къ изученію послѣдняго мальчикъ былъ увлеченъ извѣстнымъ ориенталистомъ, нумизматомъ и археологомъ Г. С. Саблуковымъ, который преподавалъ исторію въ Саратовской семинаріи и былъ вхожъ въ домъ Гавріила Ивановича. Сверхъ того, Чернышевскій занимался арабскимъ и еврейскимъ языками, знаніе которыхъ было не обязательно для учениковъ въ семинаріи.

Въ семинаріи Чернышевскій, будучи застѣнчивымъ, тихимъ и смиреннымъ, ни съ кѣмъ не рѣшался заговорить первымъ. Товарищи прозвали его дворянчикомъ, такъ какъ онъ и одѣтъ былъ лучше другихъ, и былъ сынъ извѣстнаго протоіерея, котораго уважало не только семинарское начальство, но даже архіерей, и учителя считали за честь бывать у него въ домѣ. Кромѣ того, Чернышевскій очень часто ѣздилъ въ семинарію на лошади, что въ то время въ Саратовѣ считалось аристократизмомъ, поэтому чуть ли не цѣлый годъ товарищи чуждались его и не рѣшались

вступать съ нимъ въ разговоръ, и онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ только съ однимъ ученикомъ, М. Левицкимъ, который, какъ лучший по классу, сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Правились Чернышевскому споры и рассказы Левицкаго. Но дружба эта ограничивалась стѣнами семинаріи, и какъ Чернышевскій ни просилъ Левицкаго къ себѣ въ гости, бѣдный, неотесанный бурсакъ не рѣшался идти къ нему, отговариваясь тѣмъ, что и одежда у него плохая, и онъ не умѣетъ обращаться въ обществѣ, въ особенности въ домѣ такого высокопоставленнаго лица, какимъ былъ отецъ Чернышевскаго. Вообще товарищи неохотно посѣщали Чернышевскаго, и если нѣкоторые изрѣдка рѣшались зайти къ нему, долго не задерживались. Между тѣмъ Чернышевскій желалъ сблизиться съ лучшими учениками и быть съ ними въ дружественныхъ отношеніяхъ. Жизнь семинаристовъ того времени была груба; но Чернышевскій не обращалъ на это никакого вниманія: для него дороги были бесѣды съ умными товарищами. Желая окончить о чемъ-нибудь разговоръ, Чернышевскій заходилъ иногда съ товарищами, любившими выпить, въ кабачекъ, гдѣ велъ съ ними дружескую бесѣду, отказываясь отъ водки, которою угощали его товарищи. Не найдя себѣ друга между семинаристами, Чернышевскій, будучи на четыре года старше своего двоюроднаго брата А. Н. Пыпина, сбѣжался его другомъ, руководителемъ и воспитателемъ, передавая ему все свои обширныя знанія.

Не уступая товарищамъ въ физической силѣ, которую Чернышевскій успѣлъ развить съ дѣтства, играя съ дѣтьми по цѣлымъ часамъ на берегу Волги, онъ однакоже мало участвовалъ въ играхъ семинаристовъ, вѣчно чѣмъ-нибудь занимался, и даже во время перемѣнъ никогда не видѣли его гуляющимъ по двору или коридору. Передъ нимъ постоянно на столѣ лежало нѣсколько тетрадокъ. Однѣ были записки преподавателей, въ другія онъ писалъ какія-нибудь замѣтки или выписки изъ книгъ; такъ, на примѣръ, выписалъ изъ лексикона Кронеберга цѣлыя фразы изъ Овидія и другихъ писателей. Когда же товарищи обращались къ нему за разъясненіемъ фразы, онъ бросалъ свои занятія и принимался переводить и объяснять грамматическія правила, весь погружаясь въ свои объясненія, причѣмъ прочитывалъ иногда наизусть цѣлыя главы Лактанція или другихъ классиковъ.

„Научныя свѣдѣнія его, по словамъ товарища Розанова, были необыкновенно велики: онъ зналъ языки латинскій, греческій, еврейскій, французскій, нѣмецкій, польскій и англійскій. Начитанность была необыкновенная. Между нашими преподавателями былъ нѣкто Г. С. Воскресенскій... Это былъ человекъ аскетскій до звѣрства, но какъ преподаватель лучший въ семинаріи... Заговорить бывало о чемъ-нибудь и спросить: не читалъ ли кто-нибудь объ этомъ?—все или молчать, или отвѣтить, что не читали. „Ну, а вы, Чернышевскій, читали?“—спросить онъ. Въ то время, какъ Воскресенскій говорилъ и спрашивалъ, Чернышевскій по обыкновенію писалъ что-нибудь. Во время класса при наставникахъ онъ всегда дѣлалъ выписки изъ лексиконновъ,—это было его обыкновенное и непрѣмное занятіе. Пишетъ Чернышевскій, учитель спросить его и не повторяетъ вопроса; тотъ встаетъ и начинаетъ: „германскій писатель NN говорить объ этомъ... французскій... англійскій...“ Слушаешь, бывало, и не можешь понять, откуда человекъ набралъ столько свѣдѣній? И такъ всегда: коль скоро о чемъ-нибудь не знаетъ никто, то и берутся за Чернышевскаго, а тотъ знаетъ ужъ непрѣмно. Многосторонностью знаній и обширностью свѣдѣній по св. писанію, всеобщей гражданской исторіи, логикѣ, психологіи, литературѣ, исторіи философіи и проч. онъ поражалъ всехъ насъ. Наставники наши считали удовольствіемъ поговорить съ нимъ, какъ съ человекомъ вполне уже развитымъ.

Рѣзко выдѣляясь изъ среды учениковъ и познаніями, и поведеніемъ, Чернышевскій въ 1843 г. аттестованъ былъ такъ: «способностей отличныхъ,

прилежанія ревностнаго, успѣховъ отличныхъ, поведенія весьма скромнаго». Учителя были отъ него въ восторгѣ, особенно учитель словесности, который входилъ съ рапортомъ въ семинарское правленіе, донося ему о сочиненіяхъ Чернышевскаго, какъ о замѣчательныхъ и образцовыхъ.

Чернышевскій мечталъ изъ семинаріи поѣхать въ духовную академію и кончить тамъ курсъ со степенью бакалавра, но, по совѣту одного родственника, рѣшился поступить въ университетъ, и въ ноябрѣ 1844 г. вышелъ изъ семинаріи. Инспекторъ семинаріи, Тихонъ, встрѣтивши мать его у кого-то въ гостяхъ, спросилъ ее:

— Что вы вздумали взять вашего сына изъ семинаріи? Развѣ вы не расположены къ духовному званію?

На это Евгенія Егоровна отвѣчала:

— Сами знаете, какъ унижено духовное званіе: мы съ мужемъ и порѣшили отдать его въ университетъ.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого свѣтила, сказалъ ей инспекторъ.

Два года готовился Чернышевскій дома къ вступительному экзамену въ университетъ, упражняясь въ это время въ нѣмецкомъ языкѣ, при содѣйствіи нѣкоего колониста Б. Х. Грефа, который тоже готовился въ университетъ, а Чернышевскій въ свою очередь помогалъ ему въ изученіи латинскаго языка.

Мать сама отвезла нѣжно любимаго сына въ Петербургъ въ 1846 г., устроила его на квартирѣ, и Чернышевскій выдержалъ вступительный экзаменъ, получивъ изъ всѣхъ предметовъ по полному баллу и лишь по географіи тройку.

Въ теченіе университетскаго курса Чернышевскій серьезно занимался древними языками, общою словесностью и изученіемъ славянскихъ нарѣчій, слушая лекціи И. И. Срезневскаго, который приблизилъ его къ себѣ, очень полюбилъ, и подъ его руководствомъ Чернышевскій составилъ словарь къ Ипатіевской лѣтописи, напечатанный въ прибавленіяхъ къ «Изв. II отд. Акад. Наукъ», 1853 г.

Въ 1850 году Чернышевскій былъ вышущенъ 11-мъ кандидатомъ и оставленъ для занятій при университетѣ. Но въ 1851 году онъ уѣхалъ въ Саратовъ, куда тянула его любовь къ родителямъ. Тамъ онъ занялъ мѣсто учителя въ гимназіи. Жизнь, въ продолженіе всего пребыванія въ Саратовѣ, онъ велъ замкнутую, имѣя единственными друзьями отца съ матерью да книги. Къ этому времени относится сближеніе его съ Н. И. Костомаровымъ, который проживалъ тогда въ Саратовѣ.

Схоронивъ мать и затѣмъ женившись, Чернышевскій въ январѣ 1854 года былъ перемѣщенъ въ Петербургъ во 2-й корпусъ, на должность учителя 3-го рода. Преподавателемъ Чернышевскій, по свидѣтельству знавшихъ его, былъ весьма хорошимъ; онъ владѣлъ превосходно своимъ предметомъ и излагалъ его увлекательно, но совершенно не заботился о томъ, чтобы воспитанники работали; онъ вовсе ихъ не спрашивалъ и не задавалъ имъ сочиненій. Тщезно инспекторъ указывалъ Чернышевскому, что воспитанники ничего не дѣлаютъ, такъ какъ передъ нимъ всеже школьники отъ 14 до 17 лѣтъ, не болѣе. Чернышевскій отшучивался, увѣряя, что успѣетъ еще задать своимъ ученикамъ сочиненія. Долго ли продолжалось бы такъ дѣло, — неизвѣстно, но однажды разыгрался слѣ-

1209

дующій эпизодъ: была переѣмна; воспитанники зашумѣли въ одномъ классѣ; дежурный офицеръ (изъ финовъ) вошелъ и водворилъ порядокъ; зашумѣли въ другомъ; между тѣмъ переѣмна уже кончилась, и учителя пошли по классамъ. Въ шумящій классъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, который шелъ туда на лекцію, вошелъ тотъ-же офицеръ для водворенія порядка. Вдругъ Чернышевскій оборачивается и, останавливая слегка офицера рукою, говоритъ: «А теперь вамъ войти сюда нельзя!» Это чрезвычайно оскорбило офицера. Послѣ окончанія классовъ, онъ принесъ инспектору и директору жалобу и требовалъ, чтобы Чернышевскій извинился. Понятно, инспекторъ классовъ, человекъ вообще отличавшійся большимъ тактомъ и деликатностью, старался склонить Чернышевскаго къ извиненію; тотъ подтверждалъ справедливость изложенія дѣла со стороны офицера, но наотрѣзъ отказался передъ обиженнымъ извиниться и подалъ въ отставку. Такъ кончилось кратковременное, не болѣе года, пребываніе Чернышевскаго въ роли преподавателя въ кадетскомъ корпусѣ.

Покончивши навсегда съ педагогической дѣятельностью, прослужа на этомъ поприщѣ не болѣе 3—5 лѣтъ, Чернышевскій весь предался литературѣ.

Литературныя связи онъ успѣлъ завязать на университетской скамьѣ, сблизившись черезъ Срезневскаго съ Ирин. Ив. Введенскимъ и посѣщая его среды. Но принималъ ли онъ участіе въ журналистикѣ и писалъ ли что-нибудь для печати въ университетскіе годы, мы не знаемъ. Въ 1853 году начали появляться его библиографическія статьи сначала въ *Отечественныхъ Запискахъ*, потомъ—*Современникъ*; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занимался и переводами романовъ. Такъ, въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1854 года былъ помѣщенъ въ его переводѣ романъ Чарльза Ливера: *Семейство Доддовъ*.

Работая безъ устали, Чернышевскій въ то же время готовилъ магистерскую диссертацию, которая хотя и была одобрена совѣтомъ университета, но, не утвержденная министромъ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовымъ, была конфискована, и такимъ образомъ Чернышевскій, уже сдавшій магистерскій экзаменъ (1855 г.) и очень удачно защищавшій диссертацию на диспутѣ, не былъ удостоенъ степени магистра.

Вскорѣ послѣ этого эпизода съ диссертацией Чернышевскій сблизился съ редакціей *Современника* и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ этого журнала. Одно время въ 1858 году, онъ былъ редакторомъ *Военнаго Сборника*, но это редакторство продолжалось недолго.

Дѣятельность его въ *Современникѣ* распадается на два періода. Первый простирается до 1858 года. Въ это время Чернышевскій завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ журнала, велъ журнальныя замѣтки и, сверхъ ряда критическихъ статей по текущей литературѣ, помѣстилъ на страницахъ *Современника* два крупныхъ трактата: *Очерки гоголевскаго періода* и *Лессингъ и его время*. Первый трактатъ посвященъ, какъ извѣстно, характеристикѣ Вѣлинскаго. Но и во второмъ трактатѣ, опредѣляя значеніе знаменитаго германскаго критика, Чернышевскій сравниваетъ съ нимъ аналогическое значеніе для насъ все того же Вѣлинскаго.

Со вступленіемъ въ *Современникъ* Добролюбова, Чернышевскій представилъ ему вести критику въ журналѣ, а самъ принялся за публици-

стику. Въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ *Современника* за 1858 годъ были напечатаны статьи: *Критика философскихъ предубѣждений противъ общиннаго владѣнія* и *О необходимости держаться умеренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа*, вызвавшія оживленную полемику современныхъ экономистовъ. Въ 1859 г. Чернышевскій напечаталъ статьи: *Экономическая дѣятельность и государство* и *По поводу «Очерковъ Англіи и Франціи» Тичерина*. Слѣдующій 1860 годъ ознаменовался обширною статьею *Капиталъ и Трудъ*, и въ томъ же году онъ приступилъ къ печатанію перевода *Оснований политической экономіи* Милля съ пространными примѣчаніями, снискавшими ему громкую общеевропейскую извѣстность. Рядъ политико-экономическихъ статей и очерковъ, вызванныхъ текущими финансовыми и экономическими реформами и мѣропріятіями, печатался въ *Современникѣ* въ 1861 и 1862 годахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Чернышевскій съ самаго начала своего участія въ *Современникѣ* удѣлялъ время для историческихъ переводовъ, компиляцій и оригинальныхъ статей. Такъ, въ 1856—57 годахъ въ *Современникѣ* былъ напечатанъ рядъ статей подъ заглавіемъ: *Разказы изъ исторіи Англіи* (по Маколею). Съ начала шестидесятыхъ годовъ подъ редакцію Чернышевскаго началъ выходить переводъ *Всемирной исторіи* Ф. Шлосера, издававшейся Серно-Соловьевичемъ. Кромѣ того перу Чернышевскаго принадлежатъ вѣсколько историко-публицистическихъ очерковъ и разсужденій: *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X* (1858 г.), *Кавеньякъ* (1858 г.), *Июльская монархія* (60 г.), *Антропологическій принципъ въ философіи* (60 г.), *О причинахъ паденія Рима* (61 г.), и друг.

Въ 1862 году, 12 іюня Чернышевскій былъ арестованъ и, просидѣвъ въ крѣпости по 13 іюня 1864 года, написалъ во время заключенія романъ *Что дѣлать?*¹⁾, заканчивающій второй періодъ его дѣятельности. Сосланный затѣмъ въ Нерчинскіе заводы на 7 лѣтъ каторжной работы, Чернышевскій послѣ этого срока былъ поселенъ въ г. Вилуйскѣ, откуда въ 1875 году, 12 іюля хотѣлъ было освободить его нѣкто Мышкинъ, но это ему не удалось; самъ же Чернышевскій въ этомъ заговорѣ не принималъ никакого участія. Въ Вилуйскѣ Чернышевскій пробылъ до 1883 года, когда былъ разрѣшенъ ему возвратъ въ Россію съ поселеніемъ въ Астрахани.

По возвращеніи въ Россію, Чернышевскій получилъ возможность снова заняться литературою и началъ третій періодъ своей дѣятельности.

Понятно, что онъ уже не могъ занять прежняго мѣста въ литературѣ и отдался почти всецѣло переводу на русскій языкъ *Всеобщей исторіи* Вебера. Изъ этого обширнаго сочиненія въ 15 томовъ, по 1000 страницъ въ каждомъ томѣ, Чернышевскій успѣлъ перевести, а Солдатенковъ напечатать—11 томовъ; двѣ трети 12-го тома также переведены Чернышевскимъ, причемъ къ послѣднимъ томамъ Чернышевскій, въ формѣ введеній, прикладывалъ оригинальные очерки по исторіи, а въ 2-мъ изданіи 1-го тома помѣстилъ: *Очеркъ научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человеческой жизни и о ходѣ развитія человечества въ до-историческія времена*.

¹⁾ О романѣ *Что дѣлать?* смотри ниже въ шестой главѣ.

При такомъ гигантскомъ трудѣ Чернышевскій нашелъ еще время помѣстить въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* обширную научную статью подъ заглавіемъ: *Характеръ человѣческаго знанія* и, сверхъ того, напечаталъ въ *Русской Мысли: Гимнъ Дѣвъ неба*, стихотвореніе подъ псевдонимомъ «Андреевъ» (1885 г. № 7); *Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь*, подписанное «Трансформистъ» (1888 г., № 9); *Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова*, сообщенные Андреевымъ, 1889 г., № 1, 2. Въ цѣломъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи эти матеріалы вышли уже послѣ смерти Чернышевскаго.

Жизнь, по словамъ саратовскихъ газетъ, въ это время Чернышевскій велъ замкнутую, уединенную; весь былъ погруженъ въ литературныя занятія, хотя въ обществѣ знакомыхъ отличался рѣдкимъ одушевленіемъ и говорливостью.

Страдалъ Чернышевскій давнишнимъ недугомъ—катарромъ желудка. Передъ смертію онъ лишился сознанія, долго и много бредилъ, иногда диктуя изъ Вебера. Кровоизліяніе въ мозгу положило конецъ его существованію. Къ величайшему утѣшенію родныхъ и самого покойнаго, послѣдніе мѣсяцы своей жизни ему пришлось провести въ родномъ Саратовѣ, куда онъ переселился какъ разъ въ годъ смерти. Смерть послѣдовала въ 12 ч. 35 м. ночи, съ 16 на 17-е октября 1889 г.

V.

Минуя публицистическую дѣятельность Чернышевскаго, какъ не входящую въ составъ нашего обзорѣнія, мы ограничимся лишь критическими статьями и начнемъ съ диссертациі, знакомящей насъ съ его эстетическими воззрѣніями.

Цѣль диссертациі заключается въ томъ, чтобы окончательно разрушить устарѣлыя эстетическія теоріи, построенныя на метафизическихъ основаніяхъ, и на мѣсто ихъ водворить новыя, реальныя. Поэтому авторъ прямо начинается съ тщательнаго анализа идеи *прекраснаго*. Опровергая одно за другимъ старыя опредѣленія въ родѣ того, что «прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ» или что «прекрасное есть единство идеи и образа», Чернышевскій, вмѣсто нихъ, ставитъ свое, основанное на реальныхъ данныхъ.

„Ощущеніе, говоритъ онъ, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ,—свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа. Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, какъ радуемся на милого намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это „что-то“ должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее, потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразныя, существа, совершенно непохожія другъ на друга.

„Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любить онъ; потому и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается гибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе: „прекрасное есть жизнь“; *прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни*“,—кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго“.

Изъ такого опредѣленія прекраснаго прямо вытекаетъ выводъ, что прекрасное въ сферѣ искусства должно всегда уступать прекрасному въ жизни. Въ самомъ дѣлѣ, разъ прекрасное есть все то, въ чемъ наиболее проявляется жизнь, то можетъ ли отраженіе этой жизни, какъ бы оно ни было близко къ подлиннику, равняться съ оригиналомъ? Большая часть диссертациі и посвящена опроверженію старыхъ эстетическихъ теорій, утверждавшихъ, будто «идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства». Чернышевскій доказываетъ, что нѣтъ, это—неправда; прекрасное искусства всегда уступаетъ прекрасному дѣйствительности,—и это самая лучшая и наиболее обстоятельная часть диссертациі.

Далѣе затѣмъ естественно возникаетъ вопросъ, въ чемъ же заключается назначеніе искусства, если оно оказывается совершенно бессильно и несостоятельно въ томъ, въ чемъ до тѣхъ поръ видѣли главное его призваніе, именно въ осуществленіи идеи прекраснаго?—Но тутъ Чернышевскій выказываетъ поразительное непониманіе цѣлей и значенія искусства, полное отсутствіе эстетической жилки, вслѣдствіе чего сбивается на совершенно ложный путь.

Такъ, по его мнѣнію, ближайшая цѣль искусства—воспроизводить дѣйствительность, но не для того, чтобы превосходить ее или хотя бы равняться съ нею, но чтобы нѣсколько напоминать намъ объ ней, помогать нашей памяти. Не всѣ могутъ каждый часъ любоваться моремъ: между тѣмъ фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе,—и чтобы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представить его въ своемъ воображеніи, смотрятъ на картину, изображающую море.

Но подобное опредѣленіе искусства не только не объясняетъ намъ творческихъ процессовъ художника, но и эстетическихъ наслажденій простыхъ смертныхъ. Неужели Айвазовскій рисуетъ морскіе пейзажи съ тою же холодною утилитарною цѣлью знакомить насъ съ моремъ и напоминать о немъ, съ какой ученый показываетъ свои туманныя картины допотопной флоры и геологическихъ формацій? Неужели мы идемъ въ картинную галерею словно въ какой-нибудь музей, съ единственною цѣлью знакомиться съ чуждыми намъ предметами или же припоминать давно невиданные? Какую-же роль играетъ тотъ творческій экстазъ, который побуждаетъ художника творить, и та сильная, доходящая порою до нервной дрожи и слезъ эмоція, которую мы ощущаемъ, когда любуемся изображеніемъ дѣйствительности, мимо которой не разъ проходили совершенно равнодушно?

Далѣе затѣмъ Чернышевскій выходитъ, повидимому, на широкую дорогу, когда слѣдующимъ образомъ раздвигаетъ область искусства:

«Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое—моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдетъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣтъ ни одного прекраснаго или смѣшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою, и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенныя подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдѣлу величественнаго; если пьесы, дышащія любовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пьесъ, то у насъ еще остается огромное количество пьесъ, которыя, по своему содержанію, не могутъ быть безъ натяжки причислены къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ воз-

вышнему, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ вѣжныя мечты? Но изъ вѣсхъ искусство наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ—поэзія. Область ея—вся область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ же разнообразны, какъ понятія мысли объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находитъ въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякое горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, вѣшнимъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказывается тѣмъ, что, кромѣ комедіи и трагедіи, должна была явиться драма. Вѣсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ съ безчисленными своими родами. Для большей части вѣшнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ заглавія, которое могло бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не могутъ всего объять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, не о формѣ, которая всегда должна быть прекрасна)“.

Все это какъ нельзя болѣе справедливо. Но далѣе затѣмъ Чернышевскій снова сходитъ съ правильной дороги. Повидимому онъ очень близко подходитъ къ В. Майкову въ своемъ дальнѣйшемъ и окончательномъ опредѣленіи искусства. Сфера искусства, по его словамъ, не ограничиваясь однимъ прекраснымъ, обнимаетъ собою все, что въ дѣйствительности (въ природѣ и жизни) интересуетъ человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общеинтересное въ жизни—вотъ содержаніе искусства.

Но Майковъ рѣзко разграничивалъ сферу интереснаго, въ смыслѣ *занимательнаго*, отъ интереснаго, въ смыслѣ *симпатичнаго*, близко касающагося насъ и возбуждающаго въ насъ различныя эмоціи, и на этомъ основаніи утверждалъ существенное различіе между наукою и искусствомъ. Чернышевскій же не сдѣлалъ этого различія, слово *интересное* употребилъ въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, и въ результатъ такого безразличія получилось тождество искусства съ наукою. Искусство, по мнѣнію автора, имѣетъ еще другое значеніе—объясненіе жизни, и въ этомъ оно ничѣмъ не отличается отъ ученаго трактата о предметѣ; различіе только въ томъ, что искусство вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли, чѣмъ ученый трактатъ: подъ формою жизни мы легче знакомимся съ предметомъ, нежели когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографическіе рассказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью.

Но если искусство тождественно съ наукою и играетъ по отношенію къ ней лишь служебную роль иллюстрированія изучаемаго, въ такомъ случаѣ какую же роль должна играть такъ называемая *творческая фантазія*? Изъ длиннаго опредѣленія этой роли на стр. 98, 99 и 100 мы видимъ, что Чернышевскій ничѣмъ не отличаетъ ее отъ способности угадыванія, наведенія, комбинированія фактовъ и изолированія изображаемаго предмета отъ всего излишняго и ненужнаго, присущей каждому талантливому ученому, который иногда по одной найденной челюсти опредѣляетъ цѣлый скелетъ животнаго. Но если мы и допустимъ, что подобная способность необходима для художественнаго творчества въ равной степени, какъ и для научныхъ изслѣдованій, то можно ли все-таки сказать, чтобы въ ней одной заключалось все творчество? Но Чернышевскій словно чувствуетъ, что онъ всталъ на какую-то шаткую и колеблющуюся подъ нимъ почву, и снѣшить оговориться, что предметъ его изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность

поэта, потому было бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ матеріаламъ его произведенія.

Это отождествленіе искусства съ наукою и приданіе ему служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій вывело критику изъ роли цѣнительницы художественныхъ произведеній, которую она исполняла въ эпоху Бѣлинскаго. Советѣмъ инья требованія для критики вытекають изъ теоріи Чернышевскаго. Здѣсь критикъ, смотря на произведеніе, какъ на служебную иллюстрацію жизни, прежде всего опредѣляетъ, вѣрна ли иллюстрація. Если иллюстрація вѣрна, онъ тотчасъ же принимается по ней анализировать самые факты жизни, такъ что въ концѣ-концовъ критика является рядомъ моральныхъ, этическихъ, публицистическихъ трактатовъ, изученіемъ жизни по художественнымъ произведеніямъ, совершенно подобно тому, какъ анатомію и географію учатъ по атласамъ.

Такъ какъ велѣдъ затѣмъ наступила бурная эпоха реформъ и поднятія цѣлага ряда вопросовъ, то подобная критика пришлась какъ нельзя болѣе ко времени и кстати, и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова.

Что касается до Чернышевскаго, то онъ первый подалъ примѣръ публицистической критики, которая вытекала изъ его теоріи. По правдѣ сказать, критическія статьи его далеко уступаютъ статьямъ Добролюбова. Прежде всего вы видите въ нихъ отсутствіе того-же, чѣмъ хромаетъ и диссертация, т. е. эстетическаго чутья, и этотъ недостатокъ повелъ за собою рядъ вопіющихъ промаховъ. Такъ, на примѣръ, Чернышевскій очень пренебрежительно и враждебно отнесся къ драмѣ Островскаго *Вдѣдность* *и пороки*, изъ чисто партійной вражды, заподозривъ въ Островскомъ *идеализацию* разсказовъ Николая Успенскаго, усмотрѣвъ въ нихъ ко-сентиментальной идеализація народа и начало реального и трезваго отношенія къ нему, не замѣтивши въ то же время всей грубости шар-Николая Успенскаго.

Болѣе удачными критическими статьями Чернышевскаго являются или историко-литературнаго содержанія, каковы о Лессингѣ, *Очерки гоголевскаго періода*, характеристики Пушкина и Гоголя, или же тѣ, въ которыхъ онъ вѣрнѣе своей теоріи, является не столько критикомъ, сколько публицистомъ. Такова, на примѣръ, статья его въ *Современникѣ* 1857 года, въ т. I, III, *О губернскихъ очеркахъ Щедрина*, проводящая ту мысль, что нравственность человека зависитъ отъ общественныхъ порядковъ. Самою-же лучшею въ этомъ родѣ безспорно является статья въ *Атенѣ* 1858 г. № 3, *Русскій человекъ на rendez-vous*, по поводу повѣсти Тургенева *Ася*. Статья, по справедливости слѣдуетъ сказать, блестящая; но это не столько критика, сколько аллегорія, скрывающаяся подъ личиною разбора повѣсти Тургенева воззваніе о скорѣйшемъ освобожденіи крестьянъ.

Чернышевскій является такимъ образомъ прямымъ предшественникомъ Добролюбова. Онъ не только внушилъ послѣднему свои эстетическія воззрѣнія, но и практически началъ то, что блистательно довершилъ Добролюбовъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I. Дѣтство и семинарскіе годы Николая Александровича Добролюбова—II. Пребываніе его въ Педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его.—III. Философскіе и моральные взгляды Добролюбова.—IV. Эстетическія теоріи Добролюбова. Сѣмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы.—V. Публицистическій характеръ критики Добролюбова.—VI. Дѣя категоріи его взглядовъ.—VII. Противорѣчія Добролюбова, обусловливаемые двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова.

I.

Ни одинъ изъ литературныхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ не представляетъ собой такого полного, цѣльнаго и, можно сказать, идеальнаго типа молодого поколѣнія конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, какъ Николай Александровичъ Добролюбовъ. Въ немъ поистинѣ, можно сказать, воплотился его замѣчательный вѣкъ.

Родился Н. А. Добролюбовъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 24-го января 1836 г. Отецъ его былъ священникъ нижегородской Николаевской церкви. Достатки у него были, судя по всему, очень скудные, а семейство большое: состояло изъ пяти дочерей и трехъ сыновей. Приходилось жизнь вести самую скромную, стѣняясь во всемъ, и это отражалось, конечно, на бытѣ семьи. Поэтому картина дѣтства Добролюбова носитъ довольно мрачный колоритъ: монотонное, однообразное существованіе день за днемъ въ полной замкнутости; томительная скука, особенно въ праздничные дни. Дома слушаніе вѣчныхъ жалобъ на безденежье, всеобщую нищету, жимку и обиду; брань и попреки суроваго отца, срывающаго свои невзгоды, а внѣ семьи чувство обиднаго отчужденія и презрѣнія со стороны свѣтскаго провинціальнаго общества. Въ самомъ юномъ возрастѣ успѣло наложить на челобѣтца своего печать суроваго и мрачнаго взгляда на жизнь.

Къ отцу Добролюбовъ былъ холоденъ и чувствовалъ въ себѣ отчужденіе отъ него вслѣдствіе его строптивости; зато къ матери былъ привязанъ всею душою. «Отъ нея, — писалъ онъ въ 1854 году послѣ ея смерти, — получилъ я свои лучшія качества, съ нею родился я съ первыхъ дней моего дѣтства; къ ней летѣло мое сердце, гдѣ бы я ни былъ, для нея было все, все, что я ни дѣлалъ».

Матери былъ обязанъ Добролюбовъ и первыми шагами своего развитія. Уже трехъ лѣтъ съ ея слѣдами заучилъ несколько басенъ Крылова и прекрасно произносилъ ихъ какъ домашними и чужими! Мать же выучила его читать и писать. Когда ему минуло 8 лѣтъ, для занятія съ нимъ были приглашены священникъ и учитель, сначала Садовскій, потомъ Тобольскій, и послѣдній занимался съ нимъ въ теченіе года столь толково и успѣшно, что одиннадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, а черезъ годъ успѣлъ попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища.

Здѣсь онъ съ перваго же года обратилъ на себя общее вниманіе. Робкій, застѣнчивый мальчикъ, нѣжный, барской наружности, съ мягкими

руками, въ то же время онъ поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-ти-лѣтняго ребенка. Въ 1848 году онъ перешелъ въ семинарію и тамъ, чуждаясь товарищей, весь ушелъ въ книги, читалъ русскихъ авторовъ, ученыя сочиненія, журналы и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу риторики и пѣтики постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ многихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, была видна тоже начитанность. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями въ 30, 40, 160 писчихъ листовъ по философскимъ темамъ, особенно объ ученіи отцовъ церкви и по русской церковной исторіи. Въ то же время, уже на 14 году, онъ началъ писать стихи и, между прочимъ, переводилъ Горація.

Внутренній міръ Добролюбова обуславливался впечатлѣніями всего, что приходилось читать юношѣ, всѣми обстоятельствами его жизни. Такъ, подъ вліяніемъ русскихъ классиковъ, онъ, по собственнымъ словамъ, «хотѣлъ походить на Печорина и Тамирина, затѣмъ толковать, какъ Чацкій», и въ то же время, смотря съ презрѣніемъ и ненавистью на окружающую его губернскую жизнь, восклицалъ въ своемъ дневникѣ въ романтическомъ порывѣ: «все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяетъ похвѣвъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца...» вмѣстѣ съ тѣмъ подъ вліяніемъ тягостныхъ условій домашней обстановки и преобладанія религіознаго содержанія въ духовной школѣ, наконецъ и общественныхъ вѣдѣній, располагавшихъ молодежь того времени къ мистическимъ экзальціямъ, Добролюбовъ впалъ въ аскетизмъ и пѣтизмъ, выразившіеся въ ежедневныхъ нравственныхъ самобичеваніяхъ. Онъ ежедневно велъ въ дневникѣ списокъ грѣховъ съ благочестивыми укоризнами себѣ, общаніями: «Господи, спаси мя, не остави мене погибающа!» сокрушеніями: «Господи, спаси мя, не остави мене погибающа!»

Къ концу семинарскаго курса романтическіе порывы мало-по-малу исчезли, онъ взглянулъ вокругъ себя трезвымъ взглядомъ холодной и расчетливой положительности, созналъ, что только упорнымъ трудомъ, расчитывая каждую минуту, онъ можетъ чего-нибудь достигнуть, хотя закалъ характера оставался тотъ же самый и въ основѣ его лежалъ тотъ же урочный аскетизмъ, перенесенный только съ романтико-религіозной на положительную и практическую почву. Такъ, юноша еще болѣе ушелъ въ научный трудъ. Выйдя изъ семинаріи за два года до окончанія курса, въ августѣ 1853 года, онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзаменъ въ С.-Петербургскую духовную академию, такъ какъ въ университетѣ, несмотря на все желаніе, онъ не могъ учиться по возможности родителей, содействуя въ Петербургѣ онъ узналъ о возможности поступить въ Петербургскій институтъ на казенный счетъ и воспользовался ею, удовлетворивъ желаніемъ образомъ до нѣкоторой степени своему желанію пройти курсъ въ высшаго заведенія.

II.

Въ институтѣ онъ снова погрузился въ книги. «Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хотя онъ

и безъ того хорошо помнилъ) въ имѣвшуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ библиографическую тетрадь,—говорить одинъ товарищъ Добролюбова въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ его;—въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время онъ зарабатывалъ себѣ копейку, въ шкапу столько книгъ, что ящичъ въ столѣ и полки въ шкапу ломались».

Но не въ одномъ этомъ погруженіи въ книги сказанъ аскетизмъ Добролюбова. Въ то же время въ письмахъ къ товарищамъ онъ выказалъ полное невниманіе къ красотамъ столицы и отказался описывать ихъ, чѣмъ возбудилъ въ товарищахъ упреки въ гордости, невнимательности, въ томъ, что онъ корчитъ изъ себя очень умнаго человѣка, на котораго не дѣйствуетъ внѣшность. вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на свои 18 лѣтъ, онъ гналъ отъ себя и преслѣдовалъ въ другихъ все радостное, свѣтлое, малѣйшее проявленіе безхитростнаго и беззащитнаго молодого веселья. «Странное дѣло,—пишетъ онъ въ дневникѣ своемъ,—нѣскольکو дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться, а вчера ни съ того, ни съ сего вдругъ мнѣ пришла охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое! Какъ бы то ни было, а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я надѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ не убаюкивать себя, не дѣлать уступки обществу, а, напротивъ, держаться отъ него дальше, питать желчь свою...»

Въ этой выдержкѣ изъ дневника проглядываетъ не одинъ только аскетизмъ, но и нѣкоторое ожесточеніе, и это ожесточеніе усилилось въ молодомъ человѣкѣ, когда на него обрушилось нѣсколько тяжкихъ ударовъ судьбы. Не прошло и года со времени поступленія его въ институтъ, какъ умерла у него мать. Не успѣлъ онъ оправиться отъ этой дорогой и незамѣнимой утраты, какъ, вслѣдъ за нею, пошелъ въ могилу и отецъ, оставивши семейство въ крайней нищетѣ и къ тому же обремененное долгами. На рукахъ Добролюбова осталась семья изъ пяти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяніи онъ намѣревался уже бросить институтъ и искать мѣсто уѣзднаго учителя на родинѣ, и едва отклонили его близкіе люди отъ этого намѣренія, представивши тѣ резоны, что все равно на скудное жалованье уѣзднаго учителя семью ему не прокормить, сестры же и братья могутъ жить пока у родственниковъ и у нѣкоторыхъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и не могъ допустить, чтобы родные его жили милостью другихъ, и вотъ, сверхъ своихъ институтскихъ занятій, онъ началъ давать уроки, доставать переводы и такимъ образомъ пріобрѣталъ деньги на содержаніе сестеръ и братьевъ. Эти занятія сверхъ силъ очень вредно вліяли какъ на здоровье, такъ и на расположеніе духа юноши. Сдержанное, холодное и тѣмъ болѣе мрачное ожесточеніе окончательно овладѣло имъ. Такъ, когда товарищъ встрѣтилъ его на желѣзной дорогѣ и спросилъ, что у него новаго, Добролюбовъ отвѣчалъ: «Отецъ умеръ», и, по словамъ товарища, въ холодномъ тонѣ отвѣта, сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительною улыбкою, послышалось проклятіе, посланное судьбѣ. Онъ смѣялся, сообщая эту грустную новость, но такъ смѣялся, что товарища его покорило.

Таковъ былъ Добролюбовъ при началѣ своего литературнаго поприща; такимъ же остался онъ и въ продолженіе всей недолгой жизни. Тотъ же

идеализмъ, не допускавшій малѣйшихъ уступокъ и примиреній, тотъ же суровый ригоризмъ, отвергавшій всякое безцѣльное и беззавѣтное наслажденіе и требовавшій, чтобы всё помышленія челоука были направлены въ сторону общественной пользы, та же холодная, язвительная и безпощадная пронія—проникають всю дѣятельность Добролюбова до самой послѣдней статьи его. Созданный обстоятельствами личной жизни и духомъ времени, онъ сразу является передъ вами во весь свой ростъ, словно отчеканенный, и такимъ же сходитъ въ могилу безъ малѣйшихъ измѣненій въ убѣжденіяхъ, взглядахъ и требованіяхъ.

Уже въ началѣ 1855 года познакомился онъ и вошелъ въ сношеніе съ Н. Г. Чернышевскимъ, къ которому отправился съ тенденціозною повѣстью, изображавшею параллель воспитанія и жизни изнѣженного барченка и закаленного лишеніями бѣдняка. Чернышевскій прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ писать не повѣсть, а критику на сцены, имъ самимъ придуманная. Этотъ приговоръ окончательно направилъ Добролюбова на путь критики, и въ 1856 году, за годъ до окончанія курса въ Педагогическомъ институтѣ, были напечатаны въ *Современникѣ* первая статья его о *Собесѣдникѣ любителей русскаго слова* и разборъ *Акта главнаго Педагогическаго института*. Статьи эти сразу обратили на себя вниманіе начитанностью автора, усвоеніемъ духа и всѣхъ результатовъ движенія сороковыхъ годовъ, и, наконецъ, сдержанною, холодною проніею, которую трудно было ожидать отъ 19-ти-лѣтняго юноши. Но имя его пока оставалось неизвѣстнымъ, во избѣжаніе какихъ-либо неприяностей въ институтѣ. Онъ долженъ былъ даже отложить свое сотрудничество въ *Современникѣ* до окончанія курса, ограничившись въ послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ помѣщеніемъ нѣсколькихъ педагогическихъ статей въ журналѣ Чумикова и Паульсона. И лишь по окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года началъ онъ свое постоянное сотрудничество въ *Современникѣ*, а въ концѣ 1858 года принялъ на свое завѣдываніе отдѣлъ критики и библиографіи въ этомъ журналѣ.

Дальнѣйшая жизнь Добролюбова, продолжавшаяся всего лишь три года, представляетъ собою одинъ неуспынный трудъ, прерываемый лишь нѣсколькими часами необходимаго отдыха, причемъ о Добролюбовѣ буквально можно сказать, что отъ письменнаго стола онъ не отрывался. Стоитъ взглянуть на количество написаннаго Добролюбовымъ въ эти три года, на четыре увѣсистые тома его сочиненій, чтобы понять, что это была за неимоверная работа. Нѣтъ ничего удивительнаго, что силъ молодого челоука едва хватило на три года, причемъ въ послѣдній годъ своей жизни онъ принужденъ былъ часто отрываться отъ работы, борясь съ одолевавшею его болѣзнию, предпринявъ съ этою цѣлью путешествіе за границу. Такимъ образомъ количество времени, въ которое написаны четыре тома его сочиненій, этимъ еще болѣе сокращается. 17-го ноября 1861 года его уже не стало. Непреклонно-суровый сподвижникъ нашего времени, онъ быстро сгорѣлъ, принесъ свою молодую жизнь и всѣ свои силы на алтарь своего отечества и не вынесъ изъ своего короткаго существованія ни одной живой радости, ни малѣйшаго проблеска счастья.

III.

Что касается до міросозерцанія Добролюбова, до его общихъ философскихъ взглядовъ, то, къ сожалѣнію, мы не можемъ привести ни одного мѣста въ его сочиненіяхъ, въ которомъ взгляды эти выражались бы съ полнотою и опредѣленностью. Живя въ такой моментъ, въ который все вниманіе людей было поглощено общественными вопросами, Добролюбовъ рѣдко вдавался въ общія и отвлеченныя философскія разсужденія, и мы можемъ указать на весьма немногія его статьи, которыя могутъ дать приблизительныя понятія о его міросозерцаніи. Таковы: *Жизнь Магомета, соч. Вашингтона Првинга; Буддизмъ, его догматы, исторія и литература, соч. Васильева*. Обѣ эти статьи знакомятъ насъ съ религіозными воззрѣніями Добролюбова. Еще опредѣленнѣе выражается его реальное міросозерцаніе въ статьѣ *Органическое развитіе челоѵка въ связи съ его умственной и нравственною дѣятельностью*. Что касается индивидуально-нравственныхъ вопросовъ, которыми немало занимался Добролюбовъ, то въ основѣ его моральныхъ воззрѣній замѣчались вѣтъ противорѣчія, какія лежали въ духѣ времени и условіяхъ его воспитанія. Такъ, съ одной стороны, онъ, повидимому, строго держался той нравственной теоріи, которая требуетъ, чтобы поступки челоѵка не были однимъ лишь пассивнымъ послушаніемъ правиламъ морали, а выходили изъ глубины самаго духа челоѵка, чтобы правила морали проникали всего челоѵка, были его второю натурою и исполненіе ихъ было для него наслажденіемъ, а не одною тягостью исполненія долга. Такъ, въ статьѣ о Станкевичѣ онъ говоритъ:

„У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго челоѵка тѣмъ всестороннѣе, чѣмъ болѣе онъ нуждается себя къ добродѣтели. Но, по нашему мнѣнію, холодные послѣдователи добродѣтели, исполняющіе предписанія долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру, — такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастье не въ исполненіи долга, а въ нарушеніи его; но они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному принципу, который принимаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія. Поэтому они всегда несчастны отъ своей добродѣтели, жалуется на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваютъ тѣмъ, что ожесточаются противъ всего на свѣтѣ.

„Кажется, не того можно назвать истинно нравственнымъ, кто только терпитъ надъ собою велѣнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ „нравственныя вериги“, а именно того, кто заботится слыть *требованія долга съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать изъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ чтобы они не только сдѣлались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее наслажденіе...*

„Скажутъ, что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ челоѵка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія. Но мы спросимъ: кто же когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизма своимъ главнымъ источникомъ? Мы всѣ ищемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастья. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ униженіи передъ собою другихъ и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся усѣхамъ своихъ дѣтей, — тоже эгоистъ; граждаинъ, принимающій эгоизмъ другого блага своихъ соотечественниковъ, — тоже эгоистъ; вѣдь вотъ онъ, именно онъ самъ, чувствуетъ удовольствіе при этомъ; вѣдь онъ не отрѣкся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже, если челоѵкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, приготовленныя на прихоты; это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что сдѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе —

не свободное, а принужденное, но и здѣсь все-таки есть эгоизмъ. Почему-нибудь человѣкъ предпочитаетъ же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушение долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія неприятныя послѣдствія; за исполненіе же онъ надѣется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что побужденіемъ дѣйствій формально-добродѣтельного человѣка служатъ эгоизмъ очень мелкій, называемый проще тщеславіемъ, малодушіемъ и т. п. Право, хвалить за это нечего“.

Но рядомъ съ этими требованіями, чтобы нравственность естественно и непринужденно вытекала изъ глубины самаго человѣческаго духа, вы видите въ самомъ Добролюбовѣ немалые задатки той самой доктринерской нравственности, противъ которой онъ столь горячо ратовалъ. Такъ, въ дневникѣ его мы читаемъ слѣдующія строки:

„Дѣлать то, что мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болѣе интереса для себя этому дѣлу, — словомъ, *развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютною справедливостію, не были противны и моему личному чувству.* Иначе, если я примусь за дѣло, для котораго я еще недовольно развитъ и, слѣдовательно, не гождусь, то, во-первыхъ, выйду изъ него — „не дѣло, только мука“, а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственной личностію отвлеченному понятію, за которое бьешься“.

Повидимому Добролюбовъ и въ этихъ словахъ ратуетъ все противъ той же доктринерской нравственности. Но это лишь повидимому; по крайней мѣрѣ, въ стремленіи *развить себя до того, чтобы поступки, согласны съ абсолютною справедливостію, не были противны и личному чувству, если человѣкъ чувствуетъ отвращеніе къ тому, что благородно и нужно,* — намъ представляется нѣчто, заключающее въ себѣ весьма доктринерское. Благородное и нужное должно проистекать инстинктивно и непосредственно изъ глубины человѣческой природы, а не быть продуктомъ какого-то искусственнаго развитія. И къ тому же гдѣ же положите вы грань между развитіемъ себя до благороднаго и нужнаго — и приневоливаніемъ?

Въ другомъ же мѣстѣ дневника вы ясно замѣчаете струю, вполне уже доктринерскую:

„Живя, — пишетъ Добролюбовъ, — меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо: бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которою близко сойдуся, — влюблюсь непремѣнно и сойду съ ума на нѣкоторое время... Итакъ, вотъ она начинается, жизнь-то... Вотъ время для разгула и власти страстей... А я, дурачокъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я „пережилъ свои желанія и разлюбилъ свои мечты“. Я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности члѣмъ-то въ родъ Катона безстрастнаго или Зенона стоика. Но, вѣрно, жизнь возьметъ свое“.

Изъ какихъ бы прекрасныхъ идеаловъ ни вытекало это аскетическое бѣгство отъ жизни изъ боязни, чтобы она не взяла свое, во всякомъ случаѣ вся приведенная тирада поражаетъ васъ своимъ доктринерствомъ. Что же касается до развитія себя до благородныхъ и высокихъ стремленій, то это говорилось не спроста. Этими словами Добролюбовъ платилъ особенную дань своему времени. Но объ этомъ поговоримъ еще ниже.

IV.

Эстетическія воззрѣнія Добролюбова не представляли чего-либо оригинальнаго. Въ большей степени они сходились со взглядами Вѣлинскаго; отчасти же Добролюбовъ подчинялся и воззрѣніямъ Чернышевскаго. Такъ, подобно Вѣлинскому, онъ стоялъ за теорію искусства для жизни и от-

рицалъ эстетическую критику, прямо говоря въ своей статьѣ о *Наканунѣ*, что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень, и что малому знакомству съ чувствительными барышнями онъ одолженъ тѣмъ, что не умѣетъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ; но, подобно Бѣлинскому, онъ отрицалъ въ то же время и тенденціозное, надуманное творчество, требуя отъ него полной естественности и произвольности. Такъ, въ началѣ статьи своей *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ* онъ прямо говоритъ:

„Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ влияніемъ известной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ известной идеи не потому, что авторъ задался этою идеей при его созданіи, а потому что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою. Такимъ образомъ, напримѣръ, философія Сократа и комедія Аристофана въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ служатъ выраженіемъ одной и той же идеи разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиной нравовъ того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой мисологіи уже прошло; т. е. онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ догадываютъ философскимъ образомъ“.

Но этимъ и ограничивается тождество взглядовъ на искусство Добролюбова и Бѣлинскаго. Далѣе мы видимъ влияніе Чернышевскаго. Такъ, Добролюбовъ, подобно Чернышевскому, разницу между художникомъ и мыслителемъ полагаетъ лишь ту, что одинъ мыслить конкретными образами, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ. Существенной же разницы между истиннымъ знаніемъ и истинною поэзіею, по мнѣнію Добролюбова, быть не можетъ.

Отсюда Добролюбовъ, подобно Чернышевскому, выводитъ второстепенное, служебное значеніе искусства.

„По существу своему,—говоритъ онъ въ статьѣ *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ*,—литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія, она только или предлагаетъ то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что дѣлается и сдѣлано. Въ первомъ случаѣ она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ—изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство определяется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ“.

Добролюбовъ выдѣляетъ нѣсколькихъ гениальныхъ поэтовъ, въ родѣ Шекспира, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ известную эпоху и съ этой стороны обозрѣвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дѣятелей, способствовавшихъ человѣчеству въ яснѣйшемъ сознаніи его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей, а затѣмъ говоритъ:

„Что же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не нащѣпая новыхъ путей въ развитіи человѣчества, не двигая его даже и на пріятомъ пути, они должны ограничиться болѣе частнымъ специальнымъ служеніемъ: они проводятъ въ сознаніе массъ то, что открыто передовыми дѣятелями человѣчества, раскрываютъ и поясняютъ людямъ то, что въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно...“

Проводя далѣе все ту же известную намъ параллель между наукой и искусствомъ, Добролюбовъ прибавляетъ:

„Результатъ одинъ, и значеніе двухъ дѣателей было бы одно и то же; но исторія литературы показы-
ваетъ намъ, что, за немногими исключеніями, литераторы обыкновенно опаздываютъ, подмѣчаютъ и рисуютъ
возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато, впрочемъ, они ближе къ
понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней успѣха; они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется.
Между тѣмъ какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ,—гово-
рить Добролюбовъ въ заключеніе,—признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ
отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно „правды“.

Въ этихъ опредѣленіяхъ роли и значенія литературы вы видите уже
задатки того полнаго отрицанія искусства, вмѣстѣ съ совѣтомъ белле-
тристамъ и поэтамъ заняться популяризациею естественныхъ наукъ, ка-
кое послѣдовало позже со стороны Писарева.

На болѣе твердой и самостоятельной почвѣ стоитъ Добролюбовъ, когда
въ своихъ рѣчахъ о ничтожномъ влияніи литературы онъ отправляется
не отъ общихъ эстетическихъ основаній, а отъ общественныхъ условий
русской жизни, въ видѣ хотя бы безграмотности и небезопасности массъ.
Здѣсь онъ являлся въ свое время вполне новаторомъ, произнося слѣ-
дующія слова въ своей статьѣ *О степени участія народности въ раз-
витіи литературы*:

„Напрасно у насъ и громкое названіе *народныхъ писателей*: народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла
до художественности Пушкина, до пѣвительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ паревій Держа-
вина и т. д. Скажемъ больше: даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа.
Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучился; онъ долженъ заботиться
о томъ, какъ бы дать средства полмилліону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые
пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не мала! Она-то и служитъ причиною того, что литература
доселѣ имѣетъ такой ограниченный кругъ дѣйствія... Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши
страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и пишемъ, за немногими исключеніями, въ интересахъ
кружка, болѣе или менѣе незначительнаго: оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ
понятія и сочувствія носятъ характеръ парціальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся на-
рода и для него интересныя, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человѣческой, не съ на-
родной точки зрѣнія, а непременно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другаго
класса“...

Въ этихъ словахъ вы слышите голосъ вѣка съ его неодолимою тягою
къ народу; въ нихъ выражается впервые возникшее горькое сознаніе
поистинѣ жалкаго значенія литературы, существующей для ничтожной
интеллигентной горсти, которая утопаетъ въ несмѣтныхъ массахъ тем-
наго люда, борющагося съ нищетою и невѣжествомъ. Изъ этого же ве-
ликаго сознанія естественно вытекла мысль, что даже и Пушкина нельзя
назвать вполне народнымъ писателемъ.

„Народность,—говоритъ Добролюбовъ,—понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты
природы мѣткою, употребить мѣткое выраженіе, подслушанное у народа, вѣрно представить обряды, обычаи
и т. п. Все это есть у Пушкина, лучшимъ доказательствомъ служить его *Русалка*. Но чтобы быть
поэтомъ истинно-народнымъ, надо больше: надо проникнуться народнымъ духомъ,
прожить его жизнью, стать вровень съ нимъ, отбросить все предразсудки сословій,
книжнаго ученія и пр., прочувствовать тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ
народъ,—этою Пушкину не доставало“.

Подобное опредѣленіе народного писателя представляетъ собою самое
вѣщее и великое открытіе столь славной эпохи, какъ конецъ пятиде-
сятыхъ годовъ, и такого лучшаго представителя этой эпохи, какимъ
былъ Добролюбовъ.

V.

Изъ всѣхъ этихъ эстетическихъ взглядовъ Добролюбовъ и выводилъ критеріи своей критики, которую онъ называлъ *реальною*, но которая въ сущности была чисто публицистическая, имѣя дѣло съ анализомъ не самихъ произведеній, а тѣхъ фактовъ жизни, которые въ произведеніяхъ изображаются. Реальная критика, по мнѣнію Добролюбова, должна относиться къ произведенію художника такъ же, какъ къ явленіямъ дѣй-



Н. А. Добролюбовъ.

ствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты; передъ ея судомъ стоятъ лица, созданныя авторомъ, и ихъ дѣйствія; она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинить автора только за то, ежели впечатлѣніе это неполно, неясно, двусмысленно. Какъ скоро въ писатель-художникѣ признается талантъ,

т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркой для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы. Для критики, по мнѣнію Добролюбова, тѣ только произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказалась сама собой, а не по заранѣ придуманной авторомъ программѣ. Такъ, о *Тысячѣ Душъ* Писемскаго Добролюбовъ ничего не говорилъ, потому что, по его мнѣнію, вся общественная сторона этого романа настолько пригнана къ заранѣ сочиненной идеѣ, и положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ невозможно, потому что отношеніе къ этимъ фактамъ не просто и неправдиво.

Подобныя критеріи суживали задачи критика, предоставляя ему не обращать вниманія на значительное большинство выходящихъ ежегодно произведеній и ограничиваться разсмотрѣніемъ лишь небольшого числа такихъ, на вѣрность изображеній которыхъ можно положиться; зато для публициста открывалась широкая дорога анализировать жизнь и проводить свои общественныя идеи на основаніи произведеній первоклассныхъ художниковъ, а въ такихъ не было въ то время недостатка.

Добролюбовъ такъ и дѣлалъ, и лучшіе его критическіе этюды, каковы: *Темное царство*, *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*, *Что такое обломовщина? Когда же придетъ настоящий день?*—заключаютъ въ себѣ не что иное, какъ глубокой и всесторонній анализъ существенныхъ сторонъ русской жизни.

Взгляды, проводимые Добролюбовымъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи. Одни выходятъ изъ анализа тѣхъ патріархальныхъ отношеній, какія перешли къ намъ по наслѣдію отъ до-петровской старины и сохранились во многихъ явленіяхъ и семейнаго, и общественнаго быта. Анализируя различныя степени и виды общественной деморализаціи, Добролюбовъ ставилъ въ противоположность старымъ, отжившимъ началамъ, новыя.

Въ этомъ отношеніи выдающіяся статьи его представляютъ не одинъ только анализъ художественныхъ образовъ, фактовъ и взглядовъ, какіе авторъ находитъ въ разбираемыхъ произведеніяхъ. Содержаніе подобныхъ этюдовъ совершенно выходитъ изъ рамокъ критики въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Что касается до самихъ авторовъ и ихъ произведеній, то они разсматриваются крайне односторонне: многое, что Добролюбову было не нужно въ его публицистическихъ видахъ, онъ смѣло упускалъ, другое подгонялъ искусственно къ проводимымъ имъ идеямъ. Все это ставилось ему неоднократно на видъ и въ укоръ, совершенно справедливо, если смотрѣть на Добролюбова, какъ на критика. Но въ томъ именно и дѣло, что это былъ вовсе не критикъ, а публицистъ.

VI.

Въ то время, какъ въ первой категоріи взглядовъ Добролюбовъ стоялъ на почвѣ культурно-исторической, во второй категоріи—онъ анализировалъ жизнь еще глубже, становясь на экономическую почву, разбирая

жизнь со стороны отношенія труда къ капиталу, людей, закаленныхъ тяжкою борьбою за существованіе, къ людямъ, избѣженнымъ и обездоленнымъ тунеядствомъ и праздною, наконецъ — интеллигенціи къ народу.

Наиболѣе рѣзко и ярко взгляды эти выражаются въ статьѣ *Что такое обломовщина?* Произведя въ ней анализъ героя романа Гончарова, какъ помѣщичій типъ, возросшій на почвѣ крѣпостного права, Добролюбовъ вслѣдъ затѣмъ приводитъ поразившую своею смѣлостью аналогію между Обломовымъ и цѣлымъ рядомъ героевъ своего времени — Онѣгиннымъ, Печоринымъ, Бельтовымъ, Рудинимъ. Конечно, если разсматривать всѣхъ этихъ героевъ, какъ художественные типы, принадлежащіе къ различнымъ эпохамъ, вы увидите между ними болѣе различія, чѣмъ сходства. Но такъ какъ они всѣ принадлежатъ къ одной средѣ, развившейся на почвѣ крѣпостного права и деморализованной имъ, то понятно, что они должны сходиться между собою въ нѣкоторыхъ чертахъ, составляющихъ характеристическую особенность этой среды. «Обломовка, — говоритъ Добролюбовъ, — есть наша прямая родина, ея владѣльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово (Обломовкѣ)». Приравнивая такимъ образомъ всю русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ говоритъ:

„Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человечества и о необходимости развитія личности, — я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

„Если встрѣчаю чиновника, жагующагося на запуганность и обременительность дѣлопроизводства, онъ, — Обломовъ.

„Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности *такого шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ — Обломовъ.

„Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали. — я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

„Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человечества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неумывающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самыя (а иногда и новыя) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

„Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствованіи и скажите: „вы говорите, что не хорошо то и то; что же нужно дѣлать?“ Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, — они скажутъ: „да какъ же это такъ вдругъ“. Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: „что же вы намѣрены дѣлать?“ — Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „что дѣлать? Разумѣется, покоряться судьбѣ! Что же дѣлать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами“... и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ нихъ лежитъ печать Обломовщины“.

Это мѣсто статьи Добролюбова даетъ намъ ключъ къ тому крайне скептическому отрицательному взгляду, какой постоянно проводилъ онъ въ продолженіе всей своей литературной дѣятельности, — на всеобщее возбужденіе и радужное настроеніе, замѣчаемое имъ въ обществѣ. Онъ постоянно указывалъ на непрочность и эфемерность движенія, возникшаго въ средѣ, которая, по самому существу своему, инертна и неспособна къ маломальски серьезному отношенію къ жизни.

„Всмотритесь, — говоритъ онъ постоянно, — въ характеръ обличій, — вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ иѣжность неслышанную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только лѣжкости, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ „высшее начальство, узнавъ объ ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами“. Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно“, — говоритъ всѣ обличители, не окупаясь на сильные эпитеты, — и вы думаете

вотъ молодцы-то, вотъ энергическіе-то дѣятели!. Погодите немножко: это въ нихъ говоритъ Собакевичъ, но Маниловъ не замедлитъ вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рѣчку, и огромный-шій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видѣть даже Москву“.

Въ противовѣсъ этимъ отрицательнымъ качествамъ интеллигенціи Добролюбовъ постоянно выставлялъ народъ, въ которомъ одномъ видѣлъ воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ и полагалъ единственную надежду на возрожденіе общества. Такъ, въ статьѣ *Черты для характеристикъ русскаго простонародья*, мы читаемъ слѣдующее многознаменательное мѣсто:

„Общее расслабленіе, болѣзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуетъ если не всѣхъ, то *большинство* нашихъ „цивилизованныхъ“ собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они такъ, что жить безъ того не могутъ, и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они—такъ, что умереть лучше, и живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простаго человѣка: онъ или негнуживаетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно желаннаго и глубоко задуманнаго. Если ужъ нельзя достигнуть, простаго человѣка не останется сложа руки; по малой мѣрѣ онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь образъ своей жизни, убѣжитъ, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто естественнымъ образомъ не переживаетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима въ жизни; если же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазій, онъ не перемонится кончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служитъ для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простаго, здороваго человѣка, разъ почувствовавшего свою личность и ея права, несносная жизнь безплодная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды,—жизнь, подобная той, какую проводятъ, напримѣръ, игрушечкины господа и многіе другіе...“

Но не одну индивидуальную нравственность народа превозносилъ Добролюбовъ при каждомъ удобномъ случаѣ, и не одну цѣльность и мощность натуры простаго человѣка противопоставлялъ онъ дряблости, развѣченности интеллигентныхъ людей. Переходя отъ отдѣльныхъ личностей къ народнымъ массамъ, онъ постоянно видѣлъ въ нихъ единственную могучую стихійную силу, на которую можетъ всегда положиться безсильная и ничтожная сама по себѣ интеллигенція. Онъ вѣрилъ, что эта необъятная сила можетъ воспринять влѣдствіе однихъ жизненныхъ опытовъ и переполненія числа страданій. Такъ, въ статьѣ *Народное дѣло* онъ говоритъ:

„Говоря о народѣ, у насъ жалуютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской дѣятельности и проч. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчалиться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученіе подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ бесслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбежно, неотразимо. Факты жизни не пропускаютъ никого мимо; они дѣйствуютъ и на безграмотнаго крестьянскаго парня, и на отупѣвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дѣйствуютъ на студента университета... Дѣйствительный фактъ, отразившійся въ практической жизни дѣятельнаго, рабочаго человѣка, породитъ тоже дѣйствительный фактъ, тогда какъ книжныя теории и предположенія образованныхъ людей, можетъ быть, такъ и останутся только теоретическими предположеніями“.

Нужно ли и говорить о томъ, что во всѣхъ подобныхъ сужденіяхъ Добролюбовъ является наиболѣе всего выразителемъ демократическихъ стремленій своей эпохи.

VII.

Но какъ ни сильна была логика Добролюбова и какою строгою послѣдовательностью ни отличались его взгляды, случалось и ему иногда впадать въ невольныя противорѣчія, повинуваясь все тому же духу своего вѣка. Мы ставили уже на видъ въ предыдущей главѣ, что движеніе шестидесятихъ годовъ имѣло двойственный характеръ, что рядомъ съ движеніемъ политическимъ шло движеніе философское, въ видѣ перехода мысли передовыхъ людей съ метафизической почвы на реальную, стремленія къ умственному развитію и обогащенію знаніями. Въ умственномъ развитіи, просвѣщеніи видѣли въ то же время такую же панацею отъ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, какъ и въ реформахъ. Мы переживали почти ту же самую безграничную вѣру въ царство разума, какою былъ преисполненъ XVIII вѣкъ, и Добролюбовъ, при всемъ своемъ скептическомъ отношеніи къ интеллигенціи съ ея отвлеченнымъ и мишурнымъ образованіемъ и при всей вѣрѣ въ непосредственныя силы народа, невольно подчинялся общему поклоненію разуму.

И вотъ, рядомъ съ приравненіемъ всей интеллигенціи къ обломовскому типу, убѣдительнѣйшими доказательствомъ, что типъ Инсарова до сихъ поръ еще невозможенъ въ нашей жизни, такъ какъ «наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову», мы видимъ въ статьѣ *Литературныя мелочи прошлаго года* первое выставленіе молодого поколѣнія противъ стараго, какъ новый общественный типъ *людей реальныхъ, съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ*. Появленіе этого новаго типа объясняется Добролюбовымъ не въ связи съ улучшеніемъ общественныхъ порядковъ, какъ этого можно было бы ожидать сообразно основнымъ взглядамъ его на зависимость нравственности людей отъ условій быта, а однимъ только измѣненіемъ философскихъ идей. Такъ, по его мнѣнію, молодые люди съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ потому отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью, что «они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительною жизнью. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ живыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными, на примѣръ, слѣдующимъ: «pereat mundus, fiat justitia»; «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни»; «лучше убить свое сердце, чѣмъ измѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому», и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумѣніе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собою—вотъ тѣ внутренніе возбудители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль—не совершенная, робкая вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству...

Въ теоретической сферѣ все это, конечно, имѣло мѣсто; но можно ли было полагать, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ и въ практической сферѣ послѣдовали аналогическія измѣненія въ томъ смыслѣ, что молодое поколѣніе эпохи Добролюбова «не умѣло блестяще и шумѣть», чтобы «въ его голосѣ не было кричащихъ нотъ, а раздавались одни сильные и твердые звуки»?

„Нынѣшніе молодые люди,—говоритъ Добролюбовъ,—хотятъ вести правильную, серьезную игру и потому считаютъ вовсе ненужнымъ съ перваго же раза выводить слона и ферезя, чтобы на третьемъ ходѣ дать шахъ и матъ королю. Они навѣрное расчитываютъ, что это только повредитъ ихъ игрѣ, и потому подвигаются понемножку, заранѣе обдумавъ планы атаки и безпрестанно слѣдя за всеми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствій вѣрнѣе, хотя вначалѣ игра не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго“.

Дѣйствительность въ скоромъ времени совершенно опровергла эти слова Добролюбова, и поколѣніе его отличилось именно тѣмъ, что вознамѣрилось кончить игру даже не на третьемъ, а сразу на первомъ ходѣ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни казалась непроходимую пропасть между старымъ и молодымъ поколѣніями на почвѣ философскаго міровоззрѣнія, не было причины существовать такой же пропасти и въ практическихъ сферахъ сообразно теоріямъ Добролюбова и по пословицѣ—яблочко отъ яблони далеко не падаетъ. Тѣмъ не менѣе вся эта тирада Добролюбова очень многозначительна, такъ какъ служитъ прототипомъ того возвеличенія базаровскаго типа, какой послѣдовалъ нѣсколько лѣтъ спустя.

Такого же рода противорѣчія встрѣтите вы и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ сочиненій Добролюбова. Такъ, въ IV главѣ статьи *Темное царство*, онъ говоритъ между прочимъ:

„Самодурство и образованіе—вещи сами по себѣ противоположныя, и потому столкновеніе между ними очевидно должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, причемъ, разумѣется, останется прежнимъ невѣждою“.

Но разъ мы признали, что самодурство обусловливается извѣстнымъ порядкомъ жизни, какъ это явствуетъ изъ статьи Добролюбова, то нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы оно могло быть сломлено путемъ одного образованія и чтобы самодуръ могъ перестать быть самодуромъ только потому, что проникнется началами образованности. Образованность, смягчая нравы, можетъ придать самодурству лишь болѣе утонченныя формы, какъ это мы и видимъ въ интеллигентныхъ классахъ и у насъ, и даже въ Западной Европѣ, но уничтожить самодурство, очевидно, можно, лишь вырвавши это растеніе съ корнемъ и вспахавши потомъ тщательно землю, на которой оно произросло.

Такое же противорѣчіе мы видимъ въ 1-й главѣ той же статьи, гдѣ Добролюбовъ сомнѣвается, чтобы Бородинъ могъ великодушно простить измѣну любимой дѣвушки, и видитъ въ этомъ натяжку со стороны Островскаго на томъ основаніи, что «во всей пьесѣ Бородинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по-старинному, послѣдній же поступокъ его вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служить Бородинъ». Здѣсь, очевидно, подразумѣвается опять все то же «развитіе», «образованность», которыя однѣ только, какъ думали въ то время, могутъ дѣлать людей способными къ столь великодушнымъ поступкамъ, какъ женитьба на обезчещенной дѣвушкѣ. Но въ такомъ случаѣ, какое же значеніе имѣютъ всѣ рѣчи Добролюбова о преимуществѣ народа передъ ин-

тelligentными людьми относительно силы, чистоты и деликатности чувствъ простыхъ людей, способныхъ и любить, и ненавидѣть, и прощать съ большею непосредственностью и беззавѣтностью, чѣмъ интеллигентные люди?

Послѣ всего этого намъ должно быть вполне понятнымъ то вышеприведенное мѣсто изъ дневника Добролюбова, гдѣ онъ говоритъ о *развитіи себя* до благородныхъ и высокихъ стремленій. Этими словами Добролюбовъ платилъ дань своему вѣку, воображая, что благородныя и высокія стремленія суть исключительный продуктъ умственного развитія, образованности, и люди темные, какъ скоты безсловесные, лишены высокихъ и безкорыстно-честныхъ побужденій.

Но подобныя отступленія отъ преобладающихъ взглядовъ такъ мимолетны, что едва замѣтны, и принимать ихъ въ расчетъ не стоитъ, опредѣляя значеніе и характеръ дѣятельности Добролюбова, которая все-таки остается преимущественно публицистическая, и все-таки на первомъ планѣ во всѣхъ его статьяхъ стоитъ анализъ вліянія на личность общественной среды. Въ то же время, если мы примемъ въ соображеніе разнхарактерность дѣятельности Добролюбова, то можно задать вопросъ, правильно ли опредѣляется роль его въ русской литературѣ, какъ критика? Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только прочесть перечень его статей, чтобы убѣдиться, что это былъ писатель самый разносторонній. Рядомъ съ критическими статьями вы найдете у него и педагогическія (*О значеніи авторитета въ воспитаніи; Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова; Рѣчи и отчетъ, читанные въ торжественномъ собраніи Московской практической академіи коммерческихъ наукъ; Всероссийскія иллюзіи, разрушаемыя розгами; Отъ дождя да въ воду*), и по внутреннимъ вопросамъ (*Литературныя мелочи прошлаго года; Народное дѣло; Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности*), и по внѣшней политикѣ (*По поводу одной очень обыкновенной исторіи; Непостижимая странность; Изъ Турина; Отецъ Александръ Гаваци и его проповѣди*), и статьи полемическаго характера, стихотворенія элегическія, юмористическія, народныя и даже повѣсти (напр. его разсказъ *Дѣлецъ* въ *Современникѣ* 1858 г., т. LIX).

Въ качествѣ сатирика, въ особенномъ отдѣлѣ *Современника*, *Свистка*, онъ былъ безпощаднымъ обличителемъ и грозою всякой словесной мишуры, фразистости, напускного либерализма, скрывающаго подъ блестящею внѣшностью грубое азіатское варварство и закорузлое невѣжество. Бичъ его съ равною безпощадностью обрушивался какъ на жрецовъ чистаго искусства, въ родѣ Фета или Тютчева, такъ и на тенденціозныхъ поэтовъ, въ родѣ Розенгейма, съ пафосомъ мнимой гражданской скорби обличавшихъ мелкихъ чиновниковъ за гривенникъ, взятый ими съ просителя. Строгий приверженецъ во всѣхъ сферахъ жизни естественности, искренности и простоты, при глубокомъ и страстномъ проникновеніи стремленіями къ общественной пользѣ, онъ требовалъ и отъ литературы тѣхъ же качествъ. Таковъ былъ наиболѣе типическій и яркій представитель конца пятидесятихъ годовъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I. Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ пятидесятихъ годовъ. Два полюса этого движенія.—II. Романъ *Что дѣлать?* и его значеніе въ свое время.—III. Идеалы этого романа.—IV. Значеніе *Русскаго Слова* и характеръ его сотрудниковъ.—V. Дмитрій Ивановичъ Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство.—VI. Гимназическіе и студенческіе годы Писарева.—VII. Послѣдній періодъ его жизни.

I.

Мы говорили уже въ предыдущихъ главахъ, что движеніе шестидесятихъ годовъ распадается на два періода рѣзкою гранью, въ видѣ такого колоссальнаго событія, какъ освобожденіе крестьянъ; до 19-го февраля 1861 г. характеръ движенія былъ исключительно политическій, а затѣмъ оно принимаетъ характеръ индивидуально-нравственный и философскій. Рука объ руку съ разрушеніемъ послѣднихъ остатковъ метафизическаго міровоззрѣнія и съ установленіемъ новаго реальнаго мышленія идетъ выработка новыхъ нравственныхъ идеаловъ. Интеллигентное общество начинаетъ дѣлиться на партіи не только по тѣмъ или другимъ политическимъ взглядамъ и общественнымъ стремленіямъ, но и по философскимъ и этическимъ воззрѣніямъ. Такъ возникаетъ пресловутая разнь между старымъ поколѣніемъ и юнымъ, отцами и дѣтьми, причемъ вы напрасно стали бы искать источника этой вражды въ какихъ-либо политическихъ несогласіяхъ, въ родѣ того хотя бы, что молодое поколѣвіе отстаивало бы реформы, а старое имъ противодѣйствовало. Напротивъ того, всѣ совершившіяся реформы шестидесятихъ годовъ, и въ предначертаніи ихъ, и въ исполненіи, были дѣломъ людей сороковыхъ годовъ, — отцовъ, которые мечтали о нихъ въ своей юности и приняли горячее участіе въ ихъ осуществленіи. Споръ же между поколѣніями шелъ объ идеализмѣ и реализмѣ, о старой системѣ семейной и личной нравственности, основанной на традиціяхъ, и о новой, проистекающей изъ новаго, реальнаго міровоззрѣнія и потребностей вѣка. Вслѣдствіе этого новаторы получили клички не какія-либо политическія, а чисто философскія. Сами себя они называли реалистами, противники же окрестили ихъ нигилистами.

Этотъ нравственно-философскій характеръ движенія второго періода шестидесятихъ годовъ обусловливается двумя причинами. Первая причина заключается въ томъ, что масса интеллигенціи, коснѣвшая до того времени въ сферѣ традиціонныхъ взглядовъ, метафизико-идеалистическихъ порывовъ и аскетическихъ идеаловъ, теперь, благодаря усилившейся въ концѣ пятидесятихъ годовъ переводческой дѣятельности, сразу познакомилась съ цѣлымъ рядомъ передовыхъ мыслителей Европы новаго реальнаго міровоззрѣнія, каковы: Ог. Контъ, Милль, Бокль, Льюисъ, Бюхнеръ, Молешоттъ и пр. и пр. Любого изъ этихъ столповъ европейской науки и мысли было достаточно, чтобы произвести переворотъ въ умахъ людей того времени. И вотъ началось сильное броженіе въ видѣ переработки всѣхъ философскихъ и моральныхъ взглядовъ, увлеченія реализ-

момъ, естественными науками и такими этическими вопросами, какъ педагогическій, семейный, женскій и пр.

Вторая причина была общественно-экономическая. Освобожденіе крестьянъ совершенно измѣнило нравы интеллигентнаго круга. Въ то время, какъ съ быстрымъ распространеніемъ образованности въ ряды интеллигенціи вошла масса разночинцевъ, мѣщанъ и вообще неимущаго люда, сами дворяне, особенно мелкопомѣстные, разоренные эмансипаціею, увидѣли себя въ беспомощномъ положеніи, гораздо худшемъ, чѣмъ положеніе привыкшихъ къ труду и лишеніямъ разночинцевъ. Такимъ образомъ создалась почти не существовавшая до того времени обширная среда интеллигентнаго пролетаріата, которая, сосредоточивая въ своихъ нѣдрахъ умственное движеніе своего времени, по самымъ условіямъ своего существованія должна была выставить совершенно новые индивидуальнo-нравственные идеалы, въ видѣ апофеоза труда, какъ основы нравственности, въ оппозицію высокоумно-презрительному взгляду на трудъ, утвердившемуся на почвѣ крѣпостнаго права; въ видѣ утвержденія семьи на началахъ любви, солидарности, равноправности членовъ—вмѣсто принципа власти и безусловнаго подчиненія, составлявшаго основу прежней патриархальной семьи.

Замѣчательно, что здѣсь, т. е. на почвѣ выработки новыхъ индивидуальнo-нравственныхъ идеаловъ, мы видимъ два совершенно противоположные полюса, находившіеся по отношенію другъ къ другу въ полномъ антагонизмѣ. Такъ, съ одной стороны, мы слышимъ раздающійся изъ разночинской среды протестъ противъ распущенности нравовъ на почвѣ крѣпостнаго права, ведущій къ строгому обузданію личности во всѣхъ ея низменныхъ прихотяхъ и похотяхъ. Стремленіе это, начало котораго мы замѣтили уже въ нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ Добролюбова, породило новый аскетизмъ подъ кличкою «ригоризма» и, ударяясь въ крайность, доходило до отрицаній самыхъ естественныхъ требованій человѣческой природы, подъ стать средневѣковому аскетизму.

Съ другой же стороны, мы видимъ, напротивъ того, развитіе сенсуализма, который стремился освободить личность отъ всѣхъ средневѣковыхъ традицій по нравственнымъ вопросамъ, проповѣдывалъ полную свободу чувствъ и страстей и подчинялъ личность однимъ только разумнымъ требованіямъ личной и общественной пользы.

Нужно ли говорить о томъ, что въ то время, какъ аскетическое теченіе выходило изъ разночинско-мѣщанской среды людей, самимъ гнетомъ скудной жизни приученныхъ ко всякаго рода самообузданіямъ, проповѣдь же свободы чувствъ и страстей, напротивъ того, была болѣе свойственна людямъ, воспитавшимся на почвѣ крѣпостнаго права, съ молокомъ матери воспринявшимъ наклонность къ легкимъ и свободнымъ нравамъ и привыкшимъ ни въ чемъ себѣ не отказывать.

Каждое изъ этихъ двухъ теченій имѣло своихъ представителей въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ. Такъ, въ то время, какъ аскетическое теченіе сосредоточивалось въ *Современникѣ*, сенсуальное имѣло мѣсто на страницахъ *Русскаго Слова*. Самымъ яркимъ выраженіемъ перваго былъ романъ Чернышевскаго—*Что дѣлать?*, появившійся въ *Современникѣ* въ 1863 году. Сенсуальное же теченіе наиболѣе ярко выразилось въ статьяхъ Д. И. Писарева и другихъ сотрудниковъ *Русскаго Слова*.

II.

Произведшій въ свое время громкую и бурную сенсацію, восторженно встрѣченный, съ одной стороны, и вызвавшій неописанный ужасъ и негодованіе, съ другой, послужившій нравственнымъ кодексомъ для многихъ юныхъ людей по крайней мѣрѣ въ теченіе десяти лѣтъ по своемъ появленіи, романъ *Что дѣлать?* въ настоящее время далеко уже не кажется намъ такимъ страшнымъ и радикальнымъ, какимъ онъ казался сорокъ лѣтъ тому назадъ.

Весь радикализмъ его заключается въ томъ, что, вооружась теоріею Фурье, авторъ въ самыхъ обольстительныхъ краскахъ рисуетъ картину будущей жизни въ Россіи лѣтъ черезъ пятьсотъ, черезъ тысячу и при этомъ восторженно восклицаетъ:

„Вотъ что въ будущемъ; будущее свѣтло и прекрасно. Любите его, стремитесь къ нему работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее, сколько можете перенести; настолько будетъ свѣтла, и добра, богата радостью и наслажденіемъ ваша жизнь, насколько вы умѣете перенести въ нее изъ будущаго“.

И на основаніи этого предписанія переносить свѣтлое будущее въ мрачное настоящее, авторъ заставляетъ героиню Вѣру Павловну заниматься устройствомъ кооперативной швейной мастерской.

Но всѣ эти смѣлыя мечты о свѣтломъ будущемъ, равно и проекты перенесенія его въ настоящее, занимаютъ въ романѣ немного мѣста. Большая же часть посвящена рѣшенію вопросовъ индивидуально-нравственныхъ и семейныхъ, — тѣхъ самыхъ, которые въ то время стояли на чеку, лежали въ духѣ времени и волновали умы. Но относительно этихъ — именно вопросовъ романъ обнаруживаетъ большую сдержанность и скромность.

Замѣчательно при этомъ, что въ то время, какъ смѣлыя мечты и проекты автора о кооперативныхъ мастерскихъ разбились въ прахъ о жалкую русскую дѣйствительность, такъ какъ дѣйствительные Вѣры Павловны, Лопуховы и Кирсановы оказались далеко не на высотѣ своего призванія, и всѣ многочисленныя попытки заводить кооперативныя мастерскія по образцу швейной мастерской Вѣры Павловны потерпѣли жестокія крушенія, — наоборотъ, по индивидуально-нравственнымъ и семейнымъ вопросамъ дѣйствительность значительно опередила героевъ романа и представила рѣшенія этихъ вопросовъ въ неизмѣримой степени и смѣлѣе, и основательнѣе, и проще.

Читая романъ *Что дѣлать?* вы испытываете такое чувство, какъ будто присутствуете при самомъ процессѣ переработки индивидуально-нравственныхъ и семейныхъ идеаловъ, и видите, какъ мучительно тяжело было людямъ отрывать отъ традиціонныхъ понятій и предрассудковъ, съ какимъ великимъ трудомъ давался имъ каждый шагъ, сколько приходилось имъ передумать, совершить лишнихъ и ни къ чему ненужныхъ поступковъ для того, чтобы въ концѣ концовъ убѣдиться, что ларчикъ просто открывался.

Начать съ того, что самое освобожденіе Вѣры Павловны «изъ подвала», выражаясь характернымъ языкомъ романа, представлялось героямъ его дѣломъ въ высшей степени головоломнымъ и производило на нихъ

впечатлѣніе невиданной и рискованной новизны. Всѣ эти поиски уроковъ для Вѣры Павловны и затѣмъ тайный бракъ ея съ Лопуховымъ при посредствѣ либеральнаго попа Мерцалова представлялись такими необыкновенными, небывалыми подвигами, что герои не въ шутку опасались, что это имъ даромъ не сойдетъ, и Марья Алексѣевна, того и гляди, обрушится на нихъ съ разными уголовными карами.

А чего стоило имъ при этомъ увѣрить другъ друга, что, совершая такіе необыкновенныя вещи, какъ свободный бракъ по любви, и затѣмъ устройство самостоятельной и независимой жизни, они дѣлаютъ это вовсе не изъ желанія облагодѣтельствовать другъ друга, а напротивъ того изъ личной выгоды, оставаясь эгоистами при всемъ кажущемся самоотверженіи.

„Жертва,—ломать свою голову Лопуховъ,—вѣдь этого ни за что, никакъ нельзя будетъ выбить изъ ея головы. А это дурно, когда думаешь, что чѣмъ-нибудь особеннымъ обязанъ человѣку; отношенія къ нему уже вѣсколько натянуты. А вѣдь узнаешь. Пріятеля объясняютъ, что вотъ молъ какаѣ предстояла карьера. Да хоть и не объясняли бы, сама сообразить: „ты, мой другъ, для меня вотъ отъ чего отказался“...

„И не думалъ жертвовать. Не было до сихъ поръ такъ глупъ, чтобы приносить жертвы,—надѣюсь, что и никогда не буду. Какъ для меня лучше, такъ и сдѣлалъ. Не такой человѣкъ, чтобы приносить жертвы. Да ихъ и не бываетъ, никто не приноситъ; это фальшивое понятіе: жертва—сапоги всмятку. Какъ пріятѣ, такъ и поступаешь. Такъ вотъ, поди-ты, растолкуй это. Въ теоріи-то оно понятно; а какъ видитъ передъ собою фактъ, человѣкъ-то и умляется: вы, говоритъ—мой благодѣтель. И, вѣдь, показало ужъ виходъ этой будущей жатвы: „Ты, говоритъ, меня изъ подвала выпустилъ,—какой ты для меня добрый“. Очень нужно было бы мнѣ выпускать тебя, если бы самому это не правилось. Это я тебя выпускаю, ты думаешь?—стало бы заботиться, какъ же, жди, когда бы это не доставляло мнѣ самому удовольствія! Можетъ быть, а самого себя выпустилъ. Да, разумѣется, себя; самому жить хочется,—понимаешь?—самому, для себя все дѣлаю.

Но даже и послѣ того, какъ первые шаги на пути свободы, независимости и честнаго труда были уже сдѣланы, и молодые люди увѣрили другъ друга, что они вовсе не благодѣтели, а вполне эгоисты, и каждый заботится прежде всего о своей выгодѣ,—стоило совершиться непредвидимому случаю въ видѣ любви Вѣры Павловны къ Кирсанову,—и герои совсѣмъ растерялись передъ этимъ фактомъ, какъ въ свою очередь передъ чѣмъ-то небывалымъ и головоломнымъ до упомогаченія, и произошла общій переполохъ. Сначала влюбленные отмахивались другъ отъ друга, употребляя всѣ усилія, чтобы побѣдить свою страсть, казавшуюся имъ въ высшей степени непозволительною. Кирсановъ началъ отстраняться отъ Лопуховыхъ, хитря передъ ними и разыгрывая роль обиженнаго. Вѣра Павловна всячески старалась увѣрить и себя, и мужа, что она продолжаетъ любить неизмѣнно его одного. Какіхъ трудовъ стоило имъ додуматься до такой простой и элементарной мысли, что браки могутъ быть вполне счастливы лишь при условіи, чтобы и темпераменты, и характеры супруговъ вполне гармонировали. Но когда наконецъ молодые люди дошли до такого удивительнаго открытія, Лопуховъ нашель, что иначе нельзя устроить новое счастье Вѣры Павловны, какъ совсѣмъ устранить себя въ видѣ мнимаго самоубійства и бѣгства въ Америку, и Рахметовъ былъ какъ нельзя болѣе правъ, когда, выведенный изъ себя всею этою комедіею, воскликнулъ въ негодованіи:

„Изъ-за какихъ пустяковъ какою тяжелой шумъ! Сколько расстройство для всѣхъ троихъ, особенно для васъ, Вѣра Павловна. Между тѣмъ, какъ очень спокойно могли бы всѣ трое жить попрежнему, какъ жили за годъ, или какъ-нибудь пережить, или какъ бы тамъ пришлось, только совершенно безъ всякаго расстройства, и попрежнему пить чай втроемъ, и попрежнему ѣздить въ оперу втроемъ. Ну, къ чему эти катастрофы?“

Разсужденія вполне основательныя, но подумайте, кого заставляетъ авторъ разсуждать столь здраво и разумно? Рахметова, человѣка «особен-

наго», такого, какихъ мало, котораго авторъ выводитъ на сцену нарочно для того, чтобы онъ, какъ колоссъ родоскѣй отѣнялъ собою миниатюрность прочихъ героевъ романа. Только подобный гигантъ по уму, казалось въ то время, могъ разсуждать столь рационально; прочіе-же смертные не могли, не исключая даже и такихъ свѣтлыхъ головъ, какими обладали Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна.

Наконецъ, обратите вниманіе, какимъ новымъ и неслыханно страшнымъ шагомъ представляется намѣреніе Вѣры Павловны заняться медициною. Сколько нужно было ей передумать думъ въ головѣ, чтобы додуматься до такихъ простыхъ мыслей, которыя нынѣ являются самыми обыденными трюизмами:

„Намъ закрыты обычаемъ пути независимой дѣятельности, которые не закрыты закономъ. Но изъ этихъ путей, закрытыхъ только обычаемъ, я могу вступить, на какой хочу, если только рѣшусь выдержать первое противорѣчіе обычая. Одивъ изъ нихъ слѣшкомъ много ближе другихъ для меня. Мой мужъ—медикъ. Онъ отдастъ мнѣ все время, которое у него свободно. Съ такимъ мужемъ мнѣ легко попытаться, не могу-ли я сдѣлаться медикомъ.

„Это было-бы очень важно, если бы явилась, наконецъ, женщины-медики. Онѣ были бы очень полезны для всѣхъ женщинъ. Женщинѣ гораздо легче говорить съ женщиной, чѣмъ съ мужчиной. Сколько бы предотвратилось тогда страданій, смертей, сколько несчастій. Надобно попытаться“.

Самъ авторъ представляетъ подобное намѣреніе Вѣры Павловны такимъ страшнымъ по своей смѣлости и новизнѣ, что считаетъ нужнымъ сдѣлать слѣдующее хотя и исполненное ироніи замѣчаніе:

„Я, нисколько не совѣтаясь, уже очень много компрометировала Вѣру Павловну со стороны поэтичности; напримѣръ не скрывала того, что она каждый день обѣдала, и, вообще съ аппетитомъ и кромѣ того, по два раза пила въ день чай. Но теперь я дошелъ до такого обстоятельства, что при всей безстыдной низости моихъ помысловъ на меня нападаетъ робость и думаю я: не лучше-ли было-бы скрыть эту вещь? Что подумаютъ о женщинѣ, которая въ состояніи заниматься медициною?“. Какіе грубые нервы должны быть у нея, какая черствая душа! Это не женщина, а мясникъ! Но сообразивши, что вѣдь я не выставлю своихъ дѣйствующихъ лицъ за идеалы совершенства, я успокоиваюсь: пусть судятъ, какъ хотятъ, о грубости натуры Вѣры Павловны, мнѣ какое дѣло? Грубо, такъ грубо...“

И ниже онъ прибавляетъ:

„Послѣ той страшно-компрометирующей вещи, что Вѣра Павловна вздумала и нашла себя способною заниматься медициною, мнѣ уже легко говорить обо всемъ: все остальное уже не можетъ такъ ужасно повредить ей во мнѣніи публики“.

Самая потребность иронизировать такимъ образомъ показывается, какъ трудно еще было въ половинѣ шестидесятихъ годовъ женщинѣ свободно заниматься медициною: это представлялось еще неслыханно-страшнымъ подвигомъ, до котораго и додуматься было не легко, а не то что приступить къ его осуществленію.

III.

Теперь обратимъ вниманіе на тѣ новые идеалы, которые выставляются въ романѣ *Что дѣлать?* На первомъ планѣ авторъ выставляетъ представителей обыкновенныхъ людей новаго поколѣнія, — людей хотя и новаго типа, но средняго уровня. Таковы—Лопуховъ, Кирсановъ, Вѣра Павловна, Мерцаловъ и пр. Прежде всего въ этихъ людяхъ обращаетъ вниманіе на себя то обстоятельство, что всѣ они—разночинцы. Лопуховъ былъ сынъ зажиточнаго священника, Кирсановъ—сынъ уѣзднаго писца, Вѣра Павловна—дочь мелкаго чиновника и управляющаго барскаго дома.

Мерцаловъ былъ священникъ и, слѣдовательно, происходилъ изъ духовнаго званія. Исключая Вѣру Павловну, всѣ прочіе герои очень рано встали на ноги. Лопуховъ почти съ дѣтства добывалъ деньги на свое содержаніе. Кирсановъ съ 12 лѣтъ помогалъ отцу въ переписываніи бумагъ и тоже съ четвертаго класса давалъ уже уроки. Всѣ они грудью, безъ связей, безъ знакомства, пролагали себѣ дорогу. Это закалило ихъ нравственную энергію, приучило ихъ къ трудолюбію, усидчивости, стойкости, мужеству въ преодоленіи препятствій.

„Каждый изъ нихъ,—читаемъ мы въ романѣ,—человѣкъ отважный, не колеблющійся, не отступающій, умѣющій взяться за дѣло, и если возьмется, то уже крѣпко хватающійся за него, такъ что оно не выскользнетъ изъ рукъ; это—одна сторона ихъ свойствъ; съ другой стороны, каждый изъ нихъ—человѣкъ безукоризненной чести, такой, что даже и не придетъ въ голову вопросъ: можно ли положиться на этого человѣка безусловно? Это ясно, какъ то, что онъ дышетъ грудью: пока дышетъ эта грудь, она горяча и неизмѣнна,—смысло кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть“.

Вмѣстѣ съ подобными основными качествами вы видите у этихъ людей полное безкорыстіе. Никакой внѣшній блескъ, богатство, роскошь, чины и отличія ни мало не занимаютъ ихъ; всѣ они отдаются какому-нибудь любимому дѣлу, и въ этомъ дѣлѣ заключается вся радость ихъ жизни. Такъ Лопуховъ и Кирсановъ знаютъ, что, занявшись медицинскою практикою, они имѣли бы въ 20 лѣтъ громкую репутацію, въ 35 лѣтъ—обеспеченіе на всю жизнь, въ 45—богатство. Но для пользы науки они отказываются отъ богатства, даже отъ довольства и сидятъ въ госпиталяхъ, дѣлая интересныя для науки наблюденія, рѣжутъ лягушекъ, вскрываютъ сотни труповъ ежегодно и, при первой возможности, обзаводятся химическими лабораторіями.

Но этимъ не ограничивается ихъ нравственная высота. Какъ ни любить они свое дѣло, ту или другую науку или профессию, они и этимъ готовы бываютъ поступиться, если видятъ возлѣ себя гибнущихъ людей, которымъ необходимо протянуть руку братской помощи. Такъ, Лопухову ничего не стоило бросить медицину и дважды перевернуть всю свою жизнь для счастья любимой женщины.

Всѣ они реалисты и приверженцы утилитарной теоріи, выводящей поступки людей изъ эгоизма, но это не мѣшаетъ намъ находить въ нихъ достаточную дозу аскетизма. Правда, они допускаютъ въ своей жизни наслажденія, не отрицаютъ въ ней и веселья, въ видѣ танцевъ, пѣсенъ, катанья на тройкахъ и т. п., но въ то же время они далеко не являются послѣдователями свободы страстей и строго подчиняютъ свои страсти внушеніямъ разума и здраваго смысла. Каждому изъ нихъ поэтому приходится не разъ выдерживать тяжкую борьбу съ самими собою и подавлять свои самыя завѣтныя страсти. Такъ, Лопуховъ, увидя, что Вѣра Павловна не можетъ быть съ нимъ счастлива такъ, какъ съ Кирсановымъ, стремится искоренить изъ своего сердца любовь къ ней. Кирсановъ и Вѣра Павловна, съ своей стороны, всѣ усилія употребляютъ, чтобы подавить взаимное влеченіе и уступаютъ этому влеченію лишь послѣ неимовѣрной борьбы.

Если мы затѣмъ обратимся отъ этихъ обыкновенныхъ людей къ необыкновенному, стоящему во всѣхъ отношеніяхъ выше ихъ, въ которомъ слѣдовательно тотъ же идеалъ олицетворяется въ высшей степени, словомъ къ Рахметову, то мы найдемъ не одни уже задатки аскетизма, а

аскета въ полномъ смыслѣ этого слова, истиннаго подвижника подѣ новою кличкою «ригориста».

Рахметовъ происходилъ изъ древняго дворянскаго рода, извѣстнаго съ XIII вѣка. Отецъ его обладалъ такимъ богатствомъ, что, несмотря на многочисленную семью его, нашъ герой получилъ на свою долю около 400 душъ и 7000 десятинъ земли. Какъ онъ распорядился съ душами и съ 5500 десятинъ земли—это не было извѣстно никому; себѣ онъ оставилъ 1500 десятинъ, съ которыхъ получалъ 3000 р. дохода, но проживалъ въ годъ рублей 400, остальные же тратилъ на различные благія дѣла. Приѣхавши 16 лѣтъ въ Петербургъ, онъ поступилъ въ университетъ на естественный факультетъ и первымъ дѣломъ озаботился приобрѣтеніемъ физической силы, сталъ усердно заниматься гимнастикой и, кромѣ того, на нѣсколько часовъ въ день становился черноработчимъ: возилъ воду, таскалъ и рубилъ дрова, пилил лѣсъ и пр. Черезъ годъ онъ отправился странствовать по Россіи, былъ пахаремъ, плотникомъ, перевозчикомъ, разъ прошелъ бурлакомъ всю Волгу отъ Дубовки до Рыбинска, причеиъ бурлаки, удивляясь его силѣ, окрестили его Никитишкою Ломовымъ, по памяти богатыря-бурлака, преданіе о необыкновенной силѣ котораго было распространено по всей Волгѣ.

Когда онъ вернулся изъ своихъ странствій, у него окончательно сложилась уже строго ригористическая система жизни, которой онъ педантически слѣдовалъ, несмотря на полный расцвѣтъ своей юности.

„Онъ сказалъ себѣ: я не пью никакого вина. Я не прикасаюсь къ женщинамъ“. А натура была кипучая „Зачѣмъ это? Такая крайность вовсе не нужна“.—Такъ нужно. Мы требуемъ для людей полнаго наслажденія жизнью,—мы должны своею жизнью свидѣтельствовать, что мы требуемъ этого не для удовлетворенія своимъ личнымъ страстямъ, не для себя лично, а для человѣка вообще; что мы говоримъ только по принципу, а не по пристрастію; по убѣжденію, а не по чьей надобности. Поэтому же онъ началъ вести самый суровый образъ жизни. Чтобы сдѣлаться и продолжать быть Никитишкою Ломовымъ, ему нужно было ѣсть говядины, много говядины,—и онъ ѣлъ ея много. Но онъ жалѣлъ каждой копѣйки на какую-нибудь пищу, кромѣ большого говядины,—и онъ ѣлъ ея много. Но онъ жалѣлъ каждой копѣйки на какую-нибудь пищу, кромѣ большого говядины, говядину онъ велѣлъ брать хозяйкѣ самую отличную, нарочно для него самые дичіе куски, но остальное ѣлъ у себя дома самое дешевое. Отказался отъ блага хлѣба, ѣлъ только черныи за своимъ столомъ. По цѣлымъ недѣлямъ у него не было во рту куса сахару, по цѣлымъ мѣсяцамъ никакого фрукта, ни куса телятины, ни пуларки. На свои деньги онъ не покупалъ ничего подобнаго: „не имѣю права тратить деньги на прихоть, безъ которой могу обойтись“, а вѣдь онъ былъ воспитанъ на роскошномъ столѣ и имѣлъ тонкій вкусъ, какъ видно было по его замѣчаніямъ о блюдахъ, когда онъ обѣдалъ у кого-нибудь за чужимъ столомъ: онъ ѣлъ съ удовольствіемъ многія изъ блюдъ, въ которыхъ отказывалъ себѣ въ своемъ столѣ, другіхъ не ѣлъ и за чужимъ столомъ. Причина различія была основательная: „то, что ѣсть хотя и по временамъ простой народъ, и я могу ѣсть при случаѣ. Того, что никогда не доступно простымъ людямъ, и я не долженъ ѣсть: это нужно мнѣ для того, чтобы хоть нѣсколько чувствовать, насколько стѣснена ихъ жизнь сравнительно съ моею“. Поэтому, если подавались фрукты, онъ абсолютно ѣлъ яблоки, абсолютно не ѣлъ абрикосовъ; апельсины ѣлъ въ Петербургѣ, не ѣлъ въ провинціи,—видите, въ Петербургѣ простой народъ ѣсть ихъ, а въ провинціи не ѣсть. Паштеты ѣлъ, потому что хорошій пирогъ не хуже паштета, а слоеное тѣсто знакомо народу, но сардинокъ не ѣлъ. Одѣвался онъ очень бѣдно, хотя любилъ изящество, и во всемъ остальномъ велъ спартанскій образъ жизни, напримѣръ не допускалъ тюфяка и спалъ на войлокѣ, даже не разрѣшая себѣ свернуть его вдвое“.

Не ограничиваясь подобными обузданіями своей плоти, Рахметовъ доходилъ даже и до самоубичеваній, обращаясь въ этомъ отношеніи вполне уже въ средневѣковаго аскета. Такъ, по словамъ автора, онъ однажды утыкалъ гвоздями, острыми вверхъ, войлокъ, на которомъ спалъ, и проспалъ на этихъ гвоздяхъ всю ночь, и когда на другое утро Кирсановъ нашель его обливающимся кровью, онъ отвѣчалъ на вопросы пріятели:

— «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно, однакоже, на всякій случай нужно. Вижу, могу».

Такого рода аскетическіе идеалы на реальной подкладкѣ вовсе не были сочинены авторомъ и искусственно привиты обществу. Они вполне естественно вытекли изъ всего прошлаго русской жизни и лежали въ нравахъ той среды интеллигентнаго пролетаріата, въ которомъ сосредоточивалось умственное движеніе шестидесятыхъ годовъ. Не въ такихъ конечно колоссальныхъ размѣрахъ и не съ такими крайностями, какъ лежанье на гвоздяхъ, тѣмъ не менѣе Рахметовыхъ можно было въ то время встрѣтить на каждомъ шагу, и всѣ они своимъ суровымъ ригоризмомъ, проводимымъ съ педантической точностью во всѣхъ мелочахъ домашняго обихода, въ пищѣ, одеждѣ, удовольствіяхъ, отношеніяхъ къ роднымъ и знакомымъ—представляли собою живой протестъ противъ прежней распущенности помѣщичьихъ нравовъ и начало того опрощенія и тяги къ народу, которыя развились изъ этого зерна впоследствии, въ семидесятые годы.

IV.

Но рядомъ съ подобнымъ ригоризмомъ, требовавшимъ, чтобы каждая минута мыслящаго человѣка была посвящена общественной пользѣ, мрачно, изъ-подлобья смотрѣвшимъ на малѣйшую побрякушку чувственности и въ каждомъ невинномъ удовольствіи готовымъ заподозрить растленное барство, стояли другіе идеалы, вслѣдствіе которыхъ тѣ-же шестидесятые годы напротивъ того прославились, какъ эпоха наибольшей распущенности нравовъ, когда люди принципиально старались жить и дѣйствовать въ разрѣзъ съ установленными правилами морали, стремились къ полной свободѣ страстей и въ малѣйшемъ подавленіи ихъ видѣли нѣчто регрессивное, возвращеніе къ отжившимъ преданіямъ.

Этой своей славой шестидесятые годы были обязаны тому сенсуальному теченію, о которомъ мы выше говорили. Какъ мы замѣтили уже выше, оно возникло на почвѣ той легкости и распущенности нравовъ, какая имѣла мѣсто въ помѣщичьей средѣ, деморализованной крѣпостнымъ правомъ. Весьма естественно, что эта распущенность не могла сразу исчезнуть вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ, а долго должна была заявлять о своемъ существованіи въ средѣ людей, вышедшихъ изъ помѣщичьихъ усадебъ, изнѣженныхъ стариннымъ барскимъ воспитаніемъ и не привыкшихъ въ чемъ либо себѣ отказывать. Людямъ этимъ очень легко было найти оправданіе своей распущенности въ тѣхъ новыхъ освободительныхъ теоріяхъ нравственности, которыя стояли въ оппозиціи съ традиціонною, подавляющею природу человѣка моралью. Такимъ образомъ возникъ сенсуализмъ, очень похожій на сенсуализмъ восемнадцатаго вѣка.

Подобно тому, какъ во Франціи въ эпоху регентства версальскіе щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли новизной своихъ идей, зачитываясь Вольтеромъ и энциклопедистами и находя въ ихъ сочиненіяхъ полное оправданіе своего легкомысленнаго поведенія, ведшаго ихъ къ полному разоренію, а затѣмъ и подъ ножъ гильотины,—нѣчто подобное видимъ мы и у насъ въ шестидесятые годы, съ тою разницею, что Вольтера замѣнили Фейербахъ и Бюхнеръ, а энциклопедистовъ—Бокль, Льюисъ, Фохтъ, Молешоттъ и пр.

Точно такъ же масса барскихъ сынковъ, заявляя себя новыми людьми, все новаторство свое выказывали въ цитатахъ изъ любимыхъ авторовъ, эффектно отрицая такъ называемыхъ «авторитетовъ», пренебреженію къ свѣтскимъ обычаямъ и приличіямъ и въ полной разнузданности какъ въ духѣ старыхъ понятій и традицій, съ ужасомъ внимали мнимымъ новымъ людямъ и видѣли въ нихъ опасныхъ отрицателей, не замѣчая, что они—плоть отъ плоти ихъ и кость отъ кости ихъ, что они болѣе ничего, какъ лишь щеголяютъ своими смѣлыми рѣчами, но въ то же время не только не имѣютъ ровно никакихъ мало-мальски опредѣленныхъ и сознательныхъ политическихъ стремленій и общественныхъ цѣлей, а напротивъ того принципиально отрицаютъ всякое служеніе обществу и активное отношеніе къ его требованіямъ и нуждамъ, изолируя личность и замыкая ее въ самое себя, во имя безусловной свободы cadaго чело-вѣка слѣдовать своимъ личнымъ стремленіямъ.

Вотъ на этой-то почвѣ и сложился новый идеалъ просвѣщеннаго реалиста, отъ котораго ничего не требовалось, кромѣ того, чтобы онъ, свободно слѣдуя внушенію разума и сердца, устраивалъ личную жизнь и счастье на основаніи новѣйшихъ рациональныхъ данныхъ, послѣднихъ словъ науки, и увлекалъ другихъ слѣдовать его благому примѣру.

Въ литературѣ это теченіе выдвинуло рядъ писателей крайне легкомысленныхъ, легковѣсныхъ, отличавшихся хлесткостью эффектныхъ фразъ и смѣлостью рискованныхъ и поверхностныхъ выводовъ и парадоксовъ, при полномъ отсутствіи мало-мальски серьезнаго и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу.

Всѣ подобные писатели въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сгруппировались вокругъ *Русскаго Слова*, самое возникновеніе котораго было крайне знаменательно и характерно. Основатель его, покойный графъ Кушелевъ-Безбородко, послѣдняя отрасль знаменитаго аристократическаго рода, вполне олицетворялъ собою типъ просвѣщеннаго мецената, въ родѣ увлеченныхъ философскимъ движеніемъ маркизовъ восемнадцатаго вѣка. Не имѣя никакого опредѣленнаго міровоззрѣнія, не примыкая ни къ какой партіи, онъ принималъ на свои рауты литераторовъ всѣхъ существовавшихъ въ то время лагерей и направленій: у него сходились такіе, не умѣющіе ничего между собою общаго, писатели, какъ А. Григорьевъ, Гр. Ев. Благосвѣтловъ, Вс. Костомаровъ, Вас. и Ник. Курочкины, Вс. Крестовскій и пр. Такой же калейдоскопъ самыхъ разнородныхъ именъ представляло измышленное графомъ Кушелевымъ *Русское Слово* въ первый годъ его изданія, въ 1860 г. Это былъ не столько журналъ съ опредѣленнымъ и строгимъ политико-литературнымъ направленіемъ, сколько періодически выходящій альбомъ разнокалиберныхъ писателей. Лишь во второй годъ своего существованія, попавши въ руки Григорія Евлампіевича Благосвѣтлова, *Русское Слово* приобрѣло тотъ цвѣтъ и характеръ, которые придавъ журналу новый редакторъ, сгруппировавши вокругъ него юныхъ писателей именно того сенсуальнаго теченія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь.

Наиболѣе яркимъ послѣдователемъ и полнымъ выразителемъ сенсуальнаго теченія былъ, какъ мы говорили уже выше, Дмитрій Ивановичъ Писаревъ, олицетворившій въ своей личности эпоху шестидесятыхъ годовъ

такъ же совершенно, какъ Добролюбовъ олицетворялъ эпоху второй половины пятидесятихъ годовъ.

V.

Люди, которые воображаютъ Писарева чѣмъ-то въ родѣ Марка Волохова, лохматымъ нигилистомъ съ бурсацкою неуклюжестью, съ заносчивыми безцеремонно-грубыми и дерзкими сарказмами, глубоко заблуждаются. Это былъ джентльменъ съ головы до ногъ, съ изящными манерами, безукоризненно и щеголевато одѣтый, владѣющій въ совершенствѣ иностранными языками. Въ любой великосвѣтской гостиной его приняли бы за челоуѣка во всѣхъ отношеніяхъ *comme il faut*.

Утонченно-вѣжливый по воспитанію, онъ и по натурѣ обладалъ мягкимъ, кроткимъ характеромъ, нѣжнымъ и любвеобильнымъ сердцемъ, простою, тактомъ и отсутствіемъ малѣйшей аффектаціи и рисовки въ своемъ обращеніи съ людьми. Въ то же время, при всей кажущейся сдержанности, которая была не чѣмъ инымъ, какъ свѣтскою выправкою, онъ обладалъ такою прозрачною искренностью, что уже въ дѣтствѣ его прозвали хрустальной коробочкой, въ которой трудно утаить что бы то ни было. Однимъ словомъ, изъ двухъ героевъ знаменитаго романа Тургенева Писаревъ болѣе подходилъ къ типу Аркадія, чѣмъ Базарова; и единственно, что отличало его отъ Аркадія, это—гигантскій умственный аппаратъ, которымъ обладалъ Писаревъ, и главная сила котораго заключалась въ безпощадномъ анализѣ, съ какимъ относился онъ ко всему окружающему, равно и къ себѣ самому.

По обстоятельствамъ и складу жизни Д. И. Писаревъ представлялъ полную противоположность Добролюбову и прочимъ писателямъ изъ рязнчинцевъ. Въ то время, какъ тѣмъ каждый шагъ жизни давался не иначе, какъ грудью, послѣ тяжелаго боя, и все, что окружало ихъ въ дѣтствѣ, ожесточало ихъ, дѣтство Писарева, напротивъ того, протекло тихо, мирно и радостно; все окружающее располагало къ безпрепятственному и полному развитію всѣхъ его силъ.

Родился онъ въ 1841 году на границѣ Орловской и Воронежской губерній, верстахъ въ 30 отъ Ельца и въ 8 или 10 отъ Задонска, въ имѣніи Знаменскомъ, гдѣ и провелъ первые пять лѣтъ своей жизни. Дальнѣйшіе же годы дѣтства его протекли въ Тульской губерніи, въ усадьбѣ Грунецъ, куда переселились родители его. Они принадлежали къ старому и зажиточному дворянскому роду. Семья была большая, состояла изъ множества дядей и тетокъ съ отцовской стороны. Дѣтей у Писаревыхъ было трое: сынъ Дмитрій и двѣ дочери, Вѣра и Екатерина. Домъ былъ какъ полная чаша; недостатка ни въ чемъ не было; гости не переводились, и жизнь въ домѣ Писаревыхъ текла такъ людно, шумно, весело и беззаботно, какъ и во всѣхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ того времени. И въ свою очередь, какъ во всѣхъ подобныхъ домахъ, нравы семьи представляли удивительную смѣсь европеизма и азіатчины: на конюшняхъ шли расправы съ крѣпостными, въ двѣичьихъ—хлопали пощечины, зато въ гостиныхъ царилъ безукоризненный лоскъ свѣтскаго тона и чопорной порядочности. Впрочемъ, слѣдуетъ отдать справедливость, что Писаревы были люди мягкіе и добродушные, и какихъ-либо выходящихъ изъ уровня

свирѣпныхъ звѣрствъ Д. И. Писаревъ свидѣтелемъ не былъ. Воспитаніе шло подѣ руководствомъ матери, Варвары Дмитриевны, женщины образованной и начитанной, но слишкомъ ужъ офранцузившейся. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что въ домѣ царилъ французскій языкъ, преобладали французскія книги. Дѣти подѣ руководствомъ матери и иностранныхъ боннъ и гувернантокъ разомъ заговорили на трехъ языкахъ: русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ, и до такой степени усвоили эти языки, что, даже играя, объяснялись другъ съ другомъ по-французски и по-нѣмецки.

Съ четырехъ лѣтъ Писаревъ уже читалъ на трехъ языкахъ; въ то же время всѣ свободныя минуты, въ родѣ прогулокъ или вечернихъ бесѣдъ, мать наполняла предметными объясненіями и вообще очень форсированно занималась умственнымъ развитіемъ дѣтей, такъ что, будучи шестилѣтнимъ мальчикомъ, Писаревъ рассуждалъ обо всемъ, какъ взрослый, и поражалъ своимъ резонерствомъ. Въ то же время онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности къ бѣганью, лазанью и вообще подвижнымъ играмъ, былъ неповоротливъ, вялъ, апатиченъ; по цѣлымъ часамъ сидѣлъ за книжкой или за раскрашиваніемъ картинокъ.

Будучи единственнымъ сыномъ въ семьѣ, равно и вслѣдствіи рано развернувшихся богатыхъ умственныхъ способностей, поражавшихъ всѣхъ окружающихъ, Писаревъ игралъ въ домѣ роль маленькаго божка: всѣ его желанія тотчасъ исполнялись, всѣ его ласкали, занимали и восхищались имъ; словомъ, онъ былъ балованнымъ ребенкомъ.

Въ первоначальномъ обученіи Писарева, кромѣ матери и гувернантокъ, принималъ еще участіе дядя его со стороны матери, гостившій въ усадьбѣ у родныхъ и обучавшій мальчика исторіи, географіи, ариѳметикѣ и русской грамматикѣ; сынъ приходскаго священника подготовлялъ его въ древнихъ языкахъ, а деревенскій писарь обучалъ чистописанію и передалъ ему свой прекрасный почеркъ.

Память у мальчика была огромная, усваивалъ онъ очень легко и быстро, и одиннадцати лѣтъ былъ уже подготовленъ къ третьему классу гимназіи. Одинъ изъ его дядей, жившій въ Петербургѣ, человекъ съ большими средствами, связями и положеніемъ, согласился взять его жить въ свое семейство и платить за него въ гимназію, и вотъ въ декабрѣ 1851 года мальчикъ былъ привезенъ въ Петербургъ, водворенъ въ домъ дяди и опредѣленъ въ третью гимназію, которая, какъ извѣстно, была единственною классическою въ то время въ Петербургѣ.

Въ гимназіи Писаревъ былъ постоянно однимъ изъ первыхъ учениковъ, кончилъ курсъ съ медалью и въ то же время поражалъ товарищей своею изящною внѣшностью: всегда тщательно и безукоризненно чисто одѣтый, розовенькій, румяный, гладко причесанный и припомаженный, онъ производилъ впечатлѣніе вербнаго херувимчика или переодѣтой дѣвочки, и таковъ же былъ во всѣхъ своихъ привычкахъ: кроткій, тихій, солидный, не принималъ онъ участія ни въ какихъ шалостяхъ, держался постоянно отъ всѣхъ въ сторонѣ, учебники его содержались всегда въ незапятнанной чистотѣ, каждая тетрабочка въ красной радужной оберткѣ была непременно снабжена пунцовымъ клякспапиромъ на розовой ленточкѣ. Онъ и самъ въ статьѣ своей *Наша университетская наука* о своихъ гимназическихъ годахъ говоритъ слѣ-

дующее: «я принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ, я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ красно-рѣчиво и почтительно, и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ «преуспѣвающимъ».

VI.

Гимназическій курсъ кончилъ Писаревъ въ 1856 году, когда ему не было еще и шестнадцати лѣтъ. О принятіи его въ университетъ было поднятъ въ министерствѣ вопросъ, такъ какъ года его не выходили еще для поступленія въ высшее учебное заведеніе, между тѣмъ странно было бы не принять юношу, кончившаго курсъ съ медалью, и его приняли на филологическій факультетъ, какъ исключеніе изъ постановленнаго правила.

Въ первомъ курсѣ университета Писаревъ продолжалъ быть все тѣмъ же ребенкомъ: также былъ одѣтъ, какъ съ иглочки, припомаженъ, приглаженъ и лекціи записывалъ въ тѣхъ же голубенькихъ или радужныхъ тетрадочкахъ съ клякс-папирчиками. Въ то же время онъ поражалъ своихъ товарищей основательнымъ знаніемъ древнихъ языковъ, переводя и по-латыни, и по-гречески *à l'ave ouvert* безъ малѣйшихъ затрудненій.

Университетъ не замедлилъ переработать ту дѣвственную неприкосновенность и ребячество, какія обнаруживалъ Писаревъ въ первый годъ своего курса. Подъ вліяніемъ университетской науки, сближенія съ новыми товарищами и въ то же время увлекаемый начинавшимся общественнымъ движеніемъ, Писаревъ черезъ годъ сдѣлался неузнаваемъ. Онъ возмужалъ, развернулся; съ одной стороны, окунулся въ университетскую науку и, по указанію одного изъ профессоровъ филологическаго факультета, началъ читать Штейнталя и Гайма, съ цѣлью приготовить статью о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ для *Студенческаго Сборника*. Въ то же время бушевалъ на студенческихъ сходкахъ и исторіяхъ и принималъ горячее участіе въ товарищескихъ спорахъ ночи напролетъ о самыхъ, конечно, важныхъ матеріяхъ.

Жить въ чопорномъ, великосвѣтскомъ домѣ своего дяди Писареву сдѣлалось стѣснительно, и онъ зимою въ 1857 году переселился къ своему другу Н. А. Трескину, съ которымъ незадолго передъ тѣмъ сблизился. Но не легко дался Писареву полный умственный и нравственный переворотъ, который пришлось ему переживать во время студенческихъ лѣтъ, съ 1857 года и по 1861-й. Трудность эта въ особенности обуславливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что въ кружкѣ, въ который вошелъ Писаревъ, царилъ духъ, ни мало не соответствовавшій складу его характера. Проведя дѣтство среди живописной природы, въ полномъ довольствѣ и холѣ, онъ привыкъ свободно отдаваться каждому своему влеченію и чтобы каждое желаніе его тотчасъ же удовлетворялось. И вдругъ, нѣкоторыя изъ самыхъ его завѣтныхъ желаній оказались неисполнимыми; онъ встрѣтилъ людей, которые далеко не относились къ нему съ тѣмъ поклоненіемъ и угожденіями, какими онъ постоянно былъ окруженъ въ родительскомъ домѣ; каждый поступокъ его под-

вергался строгой критикѣ. Онъ съ дѣтства уже былъ влюбленъ въ одну свою родственницу, которая воспитывалась въ ихъ домѣ и съ которою онъ вмѣстѣ выросъ; теперь эта страсть окончательно созрѣла въ немъ, но въ дѣвушкѣ онъ не нашелъ отвѣта, и она предложила ему одну холодную родственную дружбу. Нѣкоторые изъ его товарищей, наклонные къ аскетическому ригоризму, порицали его за то, что онъ увлекается съуетными и пустыми удовольствіями, въ родѣ билліарда, картъ и т. п.

Не менѣе того донималъ Писарева отецъ товарища, въ домѣ котораго онъ поселился, старикъ Трескинъ. Сильный духомъ, получивши въ жизни своей суровую спартанскую выправку, исходившій когда-то пѣшкомъ всю Россію отъ Петербурга до Кавказа нарочно ради прогулки и любознательности, чуждавшійся свѣта и людей и съ презрѣніемъ смотрѣвшій на людскія слабости, старикъ не могъ выносить легкаго свѣтскаго лоска, который Писаревъ вынесъ изъ прежней обстановки. Каждый шагъ Писарева казался старику легкомысленнымъ, каждое слово — поверхностнымъ и необдуманымъ, и Писареву приходилось выдерживать цѣлый градъ сарказмовъ, иногда очень мѣткихъ и злыхъ, потому что старикъ обладалъ недюжиннымъ умомъ.

Но болѣе всего доставалось Писареву отъ товарищей-сокурсниковъ его, строгихъ специалистовъ и адептовъ чистой науки. Это были черствые педанты, которыми былъ наполненъ филологическій факультетъ, мрачные затворники, не признававшіе ничего, кромѣ своей науки, на все смотрѣвшіе свысока и съ презрѣніемъ относившіеся ко всей современной журналистикѣ, публицистикѣ и беллетристикѣ, какъ къ легкомысленному дилетантизму.

Писаревъ немало снискалъ пролическихъ порицаній и укоровъ уже тогда, когда, желая сравниться со своими учеными товарищами, въ сокрушеніи, тщетно искалъ специальности и перебѣгалъ отъ одной филологической науки къ другой. Но эти порицанія обратились едва не въ проклятія, когда Писаревъ въ началѣ зимы 1858 года нашелъ литературную работу въ журналѣ для дѣвицъ, издававшемся Кремшинымъ и носившемъ заглавіе *Разсветъ*. Писареву было поручено вести въ этомъ журналѣ библиографическій отдѣлъ, причемъ статьи его оплачивались по 30 рублей за листъ, что доставляло ему въ мѣсяцъ рублей до 70. Писаревъ съ жаромъ принялся за эту работу и убѣдился вскорѣ, что въ ней — главное его призваніе.

„Я писалъ, — говоритъ онъ въ своей статьѣ *Наша унив. наука*, — свои жиденькія и невинныя статьи съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ биографіею Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ предъ собою близкую и вполне доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно развѣивать на бумагѣ свои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполне понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать...“

Вмѣстѣ съ тѣмъ ему пришлось для журнальной работы перечитать много разнообразныхъ книгъ и статей: Маколея, Прескотта, Мотлея, нѣсколько педагогическихъ разсужденій, нѣсколько путешествій (напр. *Фрегатъ Паллада* Гончарова, по Америкѣ — Лакиера, по Африкѣ — Ливингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр. *Химія вседневной жизни* Джонстона, *Исторія земной коры* Куторги, *Физическая географія* Гюйо, *Громъ и молнія* Араго).

Товарищи цѣлый крестовый походъ подняли противъ Писарева, доказывая ему, что не слѣдуетъ увлекаться журнальной работой, которая отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и пагубный дилетантизмъ. По словамъ же Писарева, одинъ годъ журнальной работы принесъ больше пользы его умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и библиотекѣ. Лѣто 1859 года было для него временемъ умственнаго кризиса. Всѣ понятія, оставшіяся въ умѣ его съ дѣтства, всѣ готовые сужденія, всѣ гипотезы, имѣющія тираническое вліяніе на мысли и поступки людей,—все это заколыхалось и стало обнаруживать свою несостоятельность! Осенью 1859 года Писаревъ пріѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. «Опрокинувъ,—говоритъ онъ,—въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то Титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли».

Въ этомъ увлеченіи, «олимпійскомъ сіяніи», какъ называли въ то время товарищи восторженное состояніе духа Писарева, онъ замыслилъ изслѣдовать мифъ о древнегреческой *мойрѣ*, напередъ рѣшивъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпійскіе боги, по всей вѣроятности—не что иное, какъ неизвѣстная сила законовъ природы. Мѣсяца два онъ работалъ неутомимо; прочелъ восемь пѣсенъ «Иліады» въ подлинникѣ, сдѣлавъ массу выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о мифологическихъ понятіяхъ Гомера. Но за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія, апатіи, разрѣшившійся полнымъ умственнымъ разстройствомъ, принявшимъ характеръ маіи преслѣдованія.

«Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ нещастія,—повѣствуетъ Писаревъ о своей болѣзни,—и сталъ воображать себѣ, что меня измучаютъ, убьютъ или живого заруютъ въ землю. Скептицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что мнѣ говорили, все, что я видѣлъ, даже все, что я ѣлъ, встрѣчало во мнѣ непобѣдимое недоверіе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной мистификаціи.»

Писарева помѣстили въ лѣчебницу доктора Штейна, гдѣ онъ пробылъ четыре мѣсяца. По выздоровленіи онъ провелъ лѣто 1860 года въ деревнѣ и, набравшись новыхъ силъ, воротился осенью въ столицу оканчивать университетскій курсъ. Въ этотъ годъ была задана студентамъ философическаго факультета тема на соисканіе медалей: *Объ Аполлоніи Тианскомъ*. Писаревъ задумалъ писать на эту тему. Мѣсяць былъ употребленъ имъ на чтеніе и выписки; въ ноябрѣ онъ началъ писать, а къ началу января кончилъ свой трудъ, разросшійся до пятнадцати печатныхъ листовъ и приведшій въ изумленіе профессора исторіи Касторскаго, когда тотъ узналъ, что диссертация писалась прямо набѣло, безъ малѣйшихъ помазокъ.

Писареву была присуждена за его трудъ серебряная медаль. Не ограничившись этимъ, онъ помѣстилъ диссертацию свою въ *Русскомъ Словѣ* лѣтомъ 1861 года и получилъ за нее до шестисотъ рублей. Это былъ первый выходъ его въ толстомъ журналѣ. Съ этихъ поръ онъ оставилъ *Разсвѣтъ* Крепина и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Русскаго Слова*.

V.

Уже на послѣднемъ курсѣ университета, вмѣстѣ съ довершеніемъ полнаго нравственнаго и умственнаго переворота, измѣнилась и внѣшняя жизнь Писарева. Со всѣми прежними товарищами онъ разорвалъ. Онъ тогда уже началъ проповѣдывать свою излюбленную теорію эгоизма и доказывать, что человѣкъ долженъ свободно и безотчетно отдаваться всѣмъ своимъ естественнымъ влеченіямъ, и весь ушелъ въ журнальную работу, находя въ ней одной все свое призваніе и цѣль жизни. Товарищи въ его теоріи эгоизма увидѣли оправданіе всякихъ злодѣяній и, убѣдившись, что онъ навсегда покинулъ святую науку, предали его анаемѣ и отвернулись отъ него.

Онъ жилъ теперь уже не у Трескина, а въ квартирѣ, занимаемой нѣсколькими студентами въ складчину. Въ квартирѣ этой несмолкаемо днемъ и ночью шелъ дымъ коромысломъ отъ безконечной оргіи, сопровождаемой хоровыми пѣснями, карточными спорами и пьяными скандалами. И среди этого шума и гама Писаревъ писалъ свои первыя статьи для *Русскаго Слова*, подтягивая въ то же время поющимъ товарищамъ или урезонивая другихъ играть восемь въ червяхъ, а не семь. Дни и ночи, не разгибая спины, сидѣлъ онъ съ своими критическими работами; но эта кипучая дѣятельность, сопровождаемая столь же кипучимъ разгуломъ, продолжалась недолго. Наступилъ 1862 годъ, мрачный для всѣхъ, роковой для многихъ, въ который и надъ Писаревымъ разразилась неожиданная гроза.

Нужно замѣтить, что передъ наступленіемъ этой грозы состояніе духа Писарева снова крайне омрачилось. Дѣвушка, которую онъ продолжалъ любить, начала было склоняться на его мольбы и подавать ему такія надежды, что онъ полагалъ себя въ правѣ считаться женихомъ ея, и вдругъ она вновь охладѣла къ нему и отказала ему въ своей рукѣ. Съ закрытіемъ *Русскаго Слова* вмѣстѣ съ *Современникомъ*, въ томъ же году, Писаревъ остался безъ работы и безъ денегъ. Все это повергло его въ такое отчаянное настроеніе, въ которомъ человѣкъ ищетъ какихъ-либо сильныхъ ощущеній и бываетъ готовъ на все. Ни по складу своихъ убѣжденій, ни по своей мягкой и кроткой натурѣ, Писаревъ, эта хрустальная коробочка, неспособная ничего утаивать, никогда не былъ расположенъ къ конспиративной дѣятельности. Это былъ писатель до мозга костей, учившій общество, но не замыкавшійся отъ него и не объявлявшій ему войны. Онъ не разъ выражался о себѣ и подобныхъ ему писателяхъ одного съ нимъ лагеря: «Мы—безумные дровосѣки, которые подпиливаемъ тотъ сукъ, на которомъ сами же сидимъ. Ну, и конечно, когда кончимъ свою работу, первые же и полетимъ вмѣстѣ съ нимъ».

Въ апрѣлѣ 1862 года вышла брошюра Шедо-Фероти, содержащая въ себѣ разборъ письма Герцена къ русскому лондонскому посланнику. Брошюра, крайне благонамѣренная, была допущена цензурою къ продажѣ. Писаревъ, въ качествѣ критика *Русскаго Слова*, написалъ рецензію на нее, но послѣдняя не была пропущена цензурой и валялась у Писарева на письменномъ столѣ. Однажды къ нему пришелъ товарищъ по университету Баллодъ, человѣкъ мало ему знакомый, и, разговаривая съ

нимъ, увидѣлъ рецензію и заинтересовался ею. Узнавъ же, что она не была допущена цензурою, Баллодъ объявилъ Писареву, что у него имѣется тайная типографія, и очень было бы желательно напечатать въ ней статейку Писарева. Въ другое время Писаревъ, можетъ быть, и отклонилъ бы подобное предложеніе мало знакомаго человѣка, не захотѣлъ бы подвергаться риску изъ-за такихъ пустяковъ. Но, какъ мы сказали уже, онъ былъ въ такомъ отчаянномъ настроеніи духа, въ которомъ не дорожилъ ни жизнью, ни настоящимъ, ни будущимъ, и нуждался въ какомъ-нибудь сильномъ нервномъ потрясеніи. И вотъ онъ общался Баллоду написать другой разборъ брошюры Шедо-Фероти, болѣе соответственный подпольной печати, что онъ и исполнилъ. Разборъ былъ напечатанъ; но вскорѣ затѣмъ Баллодъ былъ арестованъ вмѣстѣ съ своей типографіей, а 3 іюля былъ арестованъ и Писаревъ.

Послѣдствія этого ареста извѣстны. Писаревъ былъ присужденъ къ пятилѣтнему заключенію въ крѣпости, но срокъ этотъ впоследствии былъ нѣсколько сокращенъ, и Писаревъ былъ освобожденъ въ 1866 году. Четыре года, проведенные въ заключеніи, были годами большей части его литературной дѣятельности. До того времени онъ только-что успѣлъ выступить на литературное поприще и лишь расправлялъ свои крылья; послѣ заключенія, въ послѣдніе два года своей жизни, онъ писалъ мало и не писалъ ничего замѣчательнаго; такъ что изъ Петропавловской крѣпости вышло все, чѣмъ Писаревъ прославился и въ чемъ выразилось его значеніе въ русской литературѣ.

По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ вскорѣ разошелся съ Благосвѣтловымъ, предпринявшимъ послѣ закрытія *Русскаго Слова* журналъ *Дѣло*,—и началъ сотрудничать въ обновленныхъ Некрасовымъ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1868 года. Но дни его были сочтены. Лѣтомъ 1868 года онъ поселился вмѣстѣ съ своею родственницею, Марьею Александровною Марковичъ (Марко-Вовчокъ), на дачѣ въ Дубельнѣ, съ цѣлью укрѣпить нервы морскими купаньями. Но 4-го іюля, купаясь, онъ внезапно утонулъ отъ неизвѣстной причины, несмотря на то, что былъ отличнымъ пловцомъ. Трупъ его, привезенный въ Петербургъ, былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ 29-го іюля.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I. Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева.—II. Отрицаніе Пушкина.—III. Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базароваго типа.—IV. Признаніе естественныхъ наукъ панацеєю общественного прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія.—V. Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ. Polemica *Современника* съ *Русскимъ Словомъ*.—VI. Журналистика 70-хъ годовъ. Выдающіеся критики 70-хъ и 80-хъ годовъ. Николай Константиновичъ Михайловскій. Александръ Николаевичъ Пышинъ. Марья Константиновна Цебрикова. Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ. Петръ Никитичъ Ткачевъ. Михаилъ Алексѣевичъ Протопоповъ. Семень Аванасьевичъ Венгеровъ.

I.

Литературная дѣятельность Писарева не ограничивается какимъ-либо опредѣленнымъ и однороднымъ характеромъ. Она такъ разнородна, что мы будемъ разсматривать ее съ слѣдующихъ четырехъ сторонъ. Во-пер-

выхъ, Писаревъ является передъ нами выразителемъ тѣхъ парадоксальныхъ крайностей, до которыхъ послѣдовательно дошли люди шестидесятихъ годовъ въ своихъ эстетическихъ взглядахъ, полемизируя съ метафизическими эстетиками и оппортунистами пятидесятихъ годовъ. Во вторыхъ, тотъ же самый Писаревъ является проповѣдникомъ, въ образѣ Базаровскаго типа, именно того новаго идеала прогрессивныхъ реалистовъ, какой возникъ, какъ мы выше говорили, на почвѣ сенсуальнаго теченія. Въ третьихъ, Писаревъ, самъ олицетворяющій въ себѣ этотъ



Д. И. Писаревъ.

идеаль, является блестящимъ популяризаторомъ по части естественныхъ наукъ и всякихъ реальныхъ знаній. И наконецъ, въ четвертыхъ, онъ отличается поразительно глубокимъ и безпощадно-ѣдкимъ анализомъ какъ разбираемыхъ имъ произведеній, такъ, въ особенности, и изображаемой ими дѣйствительности.

Что касается до эстетическихъ воззрѣній Писарева, то, надо правду сказать, крайности, въ которыхъ обвиняется онъ, нѣсколько преувеличены его врагами. Прежде всего половину отвѣтственности за нихъ слѣдуетъ снять съ него, принявши во вниманіе, что у предшествовавшихъ ему критиковъ, у Чернышевскаго и у Добролюбова, мы видѣли уже задатки отрицательнаго отношенія къ искусству. Критики эти, подъ не-

посредственнымъ вліяніемъ которыхъ развивался Писаревъ, не ограничивались требованіемъ, чтобы писатели проникались общественными интересами и въ своихъ произведеніяхъ проводили идеи вѣка; по ихъ мнѣнію, искусство, по самому существу своему, играетъ второстепенную, низшую, служебную роль вспомогательнаго средства для памяти, имѣеть, по отношенію къ публицистикѣ, психологіи или философіи, такое же иллюстраціонное значеніе, какъ какіе-нибудь анатомическіе или географическіе атласы.

Отъ такого воззрѣнія на искусство былъ одинъ шагъ до полнаго его отрицанія, что и совершилъ Писаревъ послѣдовательно и логично въ своей знаменитой статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора*, въ которой, какъ извѣстно, доказывая, что Щедринъ—ничего болѣе, какъ веселый и остроумный балагуръ и, слѣдовательно, поэтъ чистаго искусства, онъ совѣтуетъ ему заняться естествознаніемъ: «пусть, молъ, читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣннѣ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ, а Глушова давно пора бросить».

„Не знаю, какъ другіе,—говоритъ Писаревъ въ той же статьѣ,—а я радуюсь удаванію нашей беллетристики и вижу въ ней очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственнаго развитія. Позаія, въ смыслѣ стиходѣланія, стала клониться къ унаду современнаго Пушкина, при Гоголѣ романисты или вообще прозаики заняли въ литературѣ то высшее мѣсто, которое занимали поэты; съ этого времени стихотворцы сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ литературныхъ башибузузовъ, плохо вооруженныхъ, безцѣльныхъ и неспособныхъ оказать регулярному войску никакого серьезнаго содѣйствія; теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и конечно этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что ужъ ни одинъ дѣйствительно умный и даровитый человекъ нашего поколѣнія не потратитъ своей жизни на произываніе чувствительныхъ сердецъ убійственными ядами и анапестами. А кто знаетъ, какое великое дѣло—экономія человѣческихъ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для благосостоянія всего общества, чтобы всѣ его умные люди сберегли себя въ цѣлости и пристроили всѣ свои прекрасныя способности къ полезной работѣ.—Но одержавши побѣду надъ стиходѣланіемъ, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство въ литературѣ: первый ударъ нанесъ этому господству Бѣлинскій; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть знаменитымъ писателемъ, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великимъ шагомъ впередъ, потому что добрые земляки наши выучились читать критическія статьи и пошлему приготовившись такимъ образомъ понимать разсужденія по вопросамъ науки и общественной жизни. Когда эти разсужденія сдѣлались возможными, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій стали продолжать дѣло Бѣлинскаго“...

„Теперь отгѣсненіе на задній планъ беллетристики и искусства вообще произведено: въ послѣднее пятилѣтіе не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не унасть, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ интересамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращавшія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ-нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ вамъ примѣръ: *Подводный камень*, романъ, стоящій по своему литературному достоинству выше всякой критики, имѣеть громкій успѣхъ, а *Дѣтство, отрочество и юность* графа Л. Толстаго, вещь замѣчательно хорошая по тонкости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно и проходитъ почти незамѣченной. Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впередъ: недурно было бы понять, что серьезное исцѣдованіе, написанное ясно и увлекательно, освѣщаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный непустыми подробностями и неизбежными уклоненіями отъ главнаго сюжета. Впрочемъ, этотъ шагъ сдѣлается самъ собою и, можетъ быть, онъ уже на половину сдѣланъ“...

Но подобное крайнее и рѣшительное отрицаніе искусства по существу у самого Писарева вы найдете лишь въ одной вышеозначенной статьѣ, да и въ ней не болѣе двухъ, трехъ мѣстъ, отличающихся такою же рѣзкостью. Эта статья представляетъ собою кульминаціонную точку отрицанія искусства не только въ литературѣ шестидесятихъ годовъ вообще, но и въ воззрѣніяхъ самого Писарева, и ему самому такъ трудно было

удержаться въ этой точкѣ, на самомъ, такъ сказать, острѣи шила, что въ той же самой статьѣ уже онъ тотчасъ же отступаетъ назадъ, скользитъ внизъ и дѣлаетъ уступку въ пользу искусства:

„Разумѣется,—говоритъ онъ,—здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣдуетъ увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣческіе организмы, для которыхъ легче и удобнѣе выразить свои мысли въ образахъ, если въ романѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую идею, которую они не сумѣли бы развить съ надлежащею полнотою и ясностью въ теоретической статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ имъ удобнѣе; критика сумѣетъ отыскать, а общество сумѣетъ принять и оцѣнить плодотворную идею, въ какой бы формѣ она ни была выражена. Если Некрасовъ можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи; если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если Чернышевскому удобно писать романъ, а не трактатъ по физиологіи общества, пусть пишетъ романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и не остается въ накладъ. Это даже хорошо, если такіе люди излагаютъ свои идеи въ беллетристической формѣ, потому что окончательный шагъ все-таки еще не сдѣланъ, искусство для нѣкоторыхъ читателей и особенно читателейницъ все еще сохраняетъ кое-какіе блѣдные лучи своего лознаго ореола“...

Въ статьѣ же своей *Нервыиенный вопросъ* или *Реалисты* (какъ названа статья въ отдѣльномъ изданіи сочиненій Писарева) онъ дѣлаетъ еще шагъ назадъ, и уже не условно, какъ въ только-что приведенной цитатѣ, а прямо отказывается отъ полного отрицанія искусства:

„Послѣдовательный реализмъ,—говоритъ онъ,—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово „польза“ мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: „шей сапоги“, или историку: „печи кулебяки“, но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей спеціальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не повалитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою или дрянною книгою, не обращая вниманія на то, написана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки...“

И ниже въ той же статьѣ мы встрѣчаемъ слѣдующее опредѣленіе, что такое истинный полезный поэтъ, уже не подлежащій тому безусловному отрицанію, какому подверглись въ статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора* все поэты безъ исключеній.

„Истинный полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполне глубокій смыслъ каждой пульсачіи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непременно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и неважнѣе святою и великою печалью ту огромную массу мертвыхъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою печалью, составляетъ и непременно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. „Я пишу не чернилами, какъ другіе,—говоритъ Бёрне,—я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ“. Такъ, и только такъ, долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки...“

Представляя далѣе характеристики Гёте и Гейне для того, чтобы показать, что такое истинные полезные поэты, Писаревъ затѣмъ весьма естественно чувствуетъ необходимость затушевать свое отступленіе и примирить эти опредѣленія съ прежнимъ безусловнымъ отрицаніемъ искусства, и вотъ какъ производитъ онъ это примиреніе:

„Литературные противники нашего реализма,—говоритъ онъ,—простодушнo убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько фантасматическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ все то, что

чего нельзя изготовить обѣды, шить платье или выстроить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они, конечно, должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гёте, Гейне и другимъ подобнымъ негодяямъ за трату драгоценнаго времени на непроеводительныя занятія. Они ожидали вѣроятно, что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ не Шекспиръ, Гёте не Гёте, чортъ мнѣ не братъ, всѣ дураки, и знать никого не хочу. Такому направленію умозрѣній они были бы несказанно рады, потому что, разумѣется, подобная премудрость не поколебала бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ манеромъ, — имъ сдѣлается очень досадно, и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чортпковъ и теперь поневолѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

„И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаиваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я и совѣтовалъ г. Щедрина заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увяданіе нашей беллетристики, какъ символъ возрастающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то же самое, и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гёте, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негоди были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль, и только мысль, можетъ передѣлать и обновить весь строй человеческой жизни; все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить...“

II.

Мы напечатали курсивомъ послѣднія слова только-что приведенной цитаты, потому что въ нихъ таятся ключъ ко всѣмъ сужденіямъ Писарева о современныхъ и прежнихъ русскихъ писателяхъ. Ключъ этотъ заключается не въ чемъ иномъ, какъ именно въ той существенной задачѣ, которую обусловливается различіе новаго періода нашей литературы отъ стараго. Задача эта въ томъ именно и заключалась, чтобы поставить русское искусство, въ томъ числѣ и поэзію, на одной высотѣ съ западнымъ не по одной только художественности, но и по идейному содержанію. Объ этомъ мечталъ Вѣлинскій, хлопоталъ Добролюбовъ и это же самое выставляетъ на первый планъ Писаревъ, характеризуя, какъ истинныхъ полезныхъ поэтовъ, Гёте и Гейне, — писателей, дѣйствительно, наиболѣе всего богатыхъ идейнымъ содержаніемъ своихъ произведеній.

Изъ этого же прямо и послѣдовательно проистекалъ и отрицательный взглядъ Писарева на Пушкина. Взглядъ этотъ лежалъ всецѣло въ духѣ вѣка, опять-таки въ тѣхъ же требованіяхъ отъ искусства серьезнаго идейнаго содержанія, которымъ не могъ удовлетворить Пушкинъ, какъ представитель стараго періода русской литературы, — періода выработки формъ и чистой художественности. Задатки отрицательнаго отношенія къ Пушкину мы видимъ уже у Вѣлинскаго, этого перваго провозгласителя новаго періода русской литературы. Такъ, въ самомъ началѣ своихъ статей о Пушкинѣ онъ говоритъ:

„По мѣрѣ того, какъ зарождалась въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни, — всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія, какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вълѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ и для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣеть значеніе истинное и значеніе историческое, словомъ — поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, который, болѣе или менѣе,

удовлетворяются и будутъ удовлетворяться имъ, а другую, большую и значительнѣйшую стороною вполне удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполне выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее“...

Еще болѣе рѣзкое и опредѣленное сужденіе объ утратѣ Пушкинымъ значенія для опередившаго его времени въ виду новыхъ требованій отъ искусства вы встрѣтите въ пятой статьѣ Бѣлинскаго о Пушкинѣ въ слѣдующихъ словахъ:

„Какъ бы то ни было, но, по своему возрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая уже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неутолимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлалось теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго“.

Очень можетъ быть, что и Писаревъ не пошелъ бы далѣе подобныхъ относительныхъ взглядовъ на значеніе Пушкина, которые онъ кое-гдѣ и высказывалъ, соглашаясь съ Бѣлинскимъ, что Пушкинъ все-таки имѣлъ историческое значеніе, такъ какъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *пивной кружкѣ* и о *бобровомъ воротничкѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фиалахъ* и *хламидахъ*. Но тутъ замѣшалось одно обстоятельство, которое именно и вывело Писарева далеко изъ этихъ предѣловъ историческаго безпристрастія. Обстоятельство это заключалось въ томъ, что оппортунисты пятидесятихъ годовъ и теоретики чистаго искусства въ свою очередь были чужды мало-мальски объективно-спокойнаго и безпристрастнаго взгляда на значеніе поэзіи Пушкина. Они относились къ Пушкину не такъ, какъ къ прочимъ поэтамъ прежняго времени, ставили его внѣ какой бы то ни было исторической оцѣнки и придавали ему безусловное значеніе, какъ своего рода богу поэзіи. Ему молились и вмѣстѣ съ тѣмъ его выставляли какъ знамя партіи, при чемъ наиболѣе высоко прославлялись именно такія стороны поэзіи Пушкина, которыя были менѣе всего симпатичны и за которыя именно и считалъ Пушкина отжившимъ уже Бѣлинскій. Онъ ставился въ укоръ всѣмъ послѣдовавшимъ писателямъ новой натуральной школы.

Вотъ этотъ именно пристрастный, вышедшій изъ всѣхъ границъ здраваго смысла, культъ Пушкина и обращеніе великаго поэта въ боевой таранъ въ борьбѣ со всѣми новыми литературными вѣяніями и вызвали столь же крайнюю и слѣпую оппозицію. Уже задолго до статьи Писарева *Пушкинъ и Бѣлинскій*, произведшей такую сенсацію, замѣчалось въ молодомъ поколѣніи охлажденіе къ Пушкину, выражавшееся въ предпочтеніи ему Лермонтова. Писаревъ раздѣлялъ со своими сверстниками это охлажденіе, и по своей увлекающейся натурѣ перелилъ въ своей статьѣ черезъ край. Главная ошибка статьи этой заключалась въ полномъ отсутствіи исторической перспективы какъ при разборѣ различныхъ произведеній Пушкина, особенно *Евгенія Онегина*, такъ и при оцѣнкѣ общаго значенія поэзіи Пушкина. Произведенія великаго поэта разсматриваются въ ней такъ, какъ будто они вышли только-что вчера, и критика имѣла право предъявлять къ нимъ современные требованія. Но еще разъ повторяемъ, ошибка эта зависѣла отъ того, что и противники, въ свою очередь, толковали о значеніи Пушкина не историческомъ, для его времени, а по отно-

шенію къ ихъ современности, унижая и топча въ грязь во имя Пушкина, съ его пресловутою художественною объективностью и елейностью, всю современную литературу.

III.

Въ качествѣ моралиста и проповѣдника новыхъ идеаловъ Писаревъ, какъ мы сказали уже, является представителемъ сенсуальнаго теченія шестидесятыхъ годовъ. Съ самыхъ первыхъ статей своихъ онъ всегда оставался чистопробнымъ индивидуалистомъ, выставя на первый планъ прогрессъ личности путемъ самосовершенствованія, при чемъ прогрессъ этотъ онъ ставилъ въ зависимость отъ двухъ условий: во-первыхъ, чтобы личность была безгранично свободна въ стремленіяхъ и страстяхъ, пови- нуясь лишь влеченіямъ ума и сердца, и во-вторыхъ, чтобы она развива- лась въ духѣ реального мышленія путемъ изученія естественныхъ наукъ о приобрѣтеніи положительныхъ знаній.

Мы видѣли, что и Добролюбовъ и Чернышевскій выводили нрав- ственность изъ эгоизма и ратовали противъ насильственнаго подчиненія человѣка нравственному долгу. Но тѣмъ не менѣе высшимъ нравствен- нымъ идеаломъ все-таки они считали самопожертвованіе личности общей пользѣ, требуя лишь, чтобы это самопожертвованіе происходило изъ сво- боднаго стремленія къ нему человѣка, безъ приневоливаній.

У Писарева же, какъ сенсуалиста, на первомъ планѣ стоитъ стремленіе къ наслажденію, къ тому, чтобы провести жизнь какъ можно пріятнѣе, въ чемъ онъ и полагаетъ свою теорію эгоизма. Такъ въ одной изъ первыхъ статей своихъ, *Стоячая вода*, онъ такъ опредѣляетъ эгоизмъ:

„Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности, ставить цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонности, его личный вкусъ. Стало быть, внутри понятія *эгоиста* открывается необятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе, и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно: ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдова- тельно онъ дѣлаетъ только то, что ему хочется, или, другими словами, остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ уваженія къ окружающему обществу, ни изъ благоволенія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно,—въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое раз- нообразіе подъ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствие нрав- ственнаго принужденія—вотъ единственный существенный признакъ эгоизма...“

Вмѣстѣ съ освобожденіемъ отъ внутренняго насильственнаго подчине- нія нравственному долгу, личность должна позабиться освободиться и отъ внѣшнихъ насилій со стороны общества. Гнетъ общества, по мнѣнію Писарева, надъ личностью такъ же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣняя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій.

И Добролюбовъ, и Чернышевскій проповѣдывали освобожденіе лич- ности изъ-подъ внѣшняго гнета, но гнетъ этотъ они видѣли въ дурныхъ общественныхъ условіяхъ, и освобожденіе личности полагали въ пере- работкѣ этихъ условій общими дружными усиліями. Писаревъ же подъ гнетомъ подразумѣвалъ различныя предразсудки, устарѣлыя свѣтскіе обы-

чай и приличія; освобожденіе же отъ нихъ возлагалъ исключительно на одну энергію и волю отдѣльной личности.

„Тѣ условія,—говоритъ онъ въ той же статьѣ,—при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попробуете на чьемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, переусложнять ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досажать вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблагоприятныхъ матеріаловъ, то васъ, право, скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подвѣсятъ или даже укасаютъ, но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эссенциальности ваши идутъ себѣ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погнѣшаго человѣка и такъ или иначе оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе....“

Итакъ, вотъ основа нравственного идеала, выставляемаго Писаревымъ: это—личность, самоосвободившаяся отъ всѣхъ нравственныхъ законовъ и принциповъ и свободно отдавшаяся своимъ страстямъ и похотямъ, съ цѣлью извлечь изъ жизни такое количество разумныхъ наслажденій, какое только можетъ вмѣстить человѣческая природа. Именно этотъ самый идеаль усматриваетъ Писаревъ въ Тургеневскомъ Базаровѣ и прославляетъ его за это.

„Итакъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Базаровъ*,—Базаровъ велѣтъ и во всемъ поступать только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. *Ни надъ собою, ни свѣтъ себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокого помысла*, и при всемъ этомъ—силы огромныя.—Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ!“—слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ! браните больше, пресѣдуйте его сатирой и эпиграмой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей; и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной публики. Если базаровщина—болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится страдать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщину какъ угодно,—это ваше дѣло; а остановить,—не остановите; это—та же холера....“

Какъ истому сенсуалисту, одно только не нравится Писареву въ Базаровѣ: зачѣмъ онъ отрицаетъ обаяніе красоты природы и тѣмъ уменьшаетъ количество наслажденій въ жизни человѣка. Писаревъ видитъ въ этомъ своего рода идеализмъ и аскетизмъ.

„Вооружаясь противъ идеализма,—говоритъ онъ,—и разбивая его воздушные замки, Базаровъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣрѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою,—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ болѣе будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій“.

IV.

Но одною свободою отъ всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ стѣсненій не исчерпывается еще идеаль Писарева. Вторымъ условіемъ личнаго самосовершенствованія Писаревъ ставитъ, какъ мы говорили выше, умственное развитіе въ духѣ реализма путемъ приобрѣтенія естественно-научныхъ, положительныхъ знаній. Въ этомъ отношеніи Писаревъ выка-

зываетъ строгую послѣдовательность до конца, полагая единственное спасеніе міра въ распространеніи базаровскаго типа свободомыслящихъ и просвѣщенныхъ реалистовъ и отрицая все, что къ этому типу не подходитъ. Въ послѣдовательности этой онъ доходитъ до такой смѣлости, что не останавливается передъ отрицаніемъ даже нравственныхъ или умственныхъ достоинствъ того самаго народа, передъ которымъ въ то время преклонялись все безъ исключеній:

„Реальность—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Реалисты*.—Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалисты могутъ быть въ настоящее время только представители умственного труда. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди не что иное, какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ челоѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—гуманное шито, изъ котораго вырабатываются новые міры, но о которомъ до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ—это въ настоящее время почти немислимо, а въ Россіи, при нашихъ допотопныхъ приемахъ и орудіяхъ работы, еще болѣе немислимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ.

„Такимъ образомъ самый реальный трудъ, приносящій самую обязательную и неоспоримую пользу, остается въ области реализма, въ области практическаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли. Что жъ намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственного труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда онъ прямо или косвенно клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы“.

При такомъ презрительномъ, барскомъ возрѣніи на народъ, какъ безсмысленный агломератъ живыхъ машинъ, чуждыхъ всякой умственной и нравственной жизни, понятно, что Писаревъ не могъ не отнестись отрицательно къ статьѣ Добролюбова *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*. Возвеличеніе Екатерины Добролюбовымъ должно было показаться Писареву неосновательнымъ. Какой же лучъ свѣта въ темномъ царствѣ можно предполагать въ невѣжественной суевѣрной героинѣ *Грозы*, дрожавшей передъ каждымъ мало-мальски свободнымъ и самостоятельнымъ шагомъ и не сумѣвшей найти никакого исхода изъ своей неволи, какъ лишь въ волнахъ Волги?—Развѣ таковы бывають настоящіе «лучи»?

„Умная и развитая личность,—говоритъ Писаревъ,—сама того не замѣчалъ, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду челоѣческой рутинны; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго челоѣка,—а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодой, кто способенъ любить идею, кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть, начать новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неизощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если они внушатъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣвляли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе споснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлають въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ ихъ, и потому опѣивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ приемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть „лучи свѣта,—не Катеринѣ чета“.

Наконецъ, мы замѣчаемъ у Писарева характеристическую черту, которая отличаетъ всѣхъ моралистовъ-индивидуалистовъ: именно, ставя на первый планъ самосовершенствованіе личности, они затѣмъ и общественный прогрессъ выводятъ прямо изъ этого личнаго самосовершенствованія—

ванія, такъ что общественный прогрессъ сводится у нихъ къ простому количественному размноженію носителей ихъ идеала. Подобно тому, какъ Гоголь полагалъ, что крѣпостное право само собою парализуется по мѣрѣ того, какъ всѣ помѣщики проникнутся духомъ благочестія, какое онъ проповѣдывалъ, подобно тому, какъ гр. Л. Толстой мечтаетъ о воцареніи царства небеснаго на землѣ, какъ только каждый человѣкъ постигнетъ евангельскую истину, такъ и Писаревъ былъ убѣжденъ, что на землѣ не замедлитъ воцариться рай, какъ только всѣ люди обратятся въ трезвыхъ реалистовъ базаровскаго типа.

„Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми,—говоритъ онъ въ заключеніе статьи *Центры невиннаго юмора*.—если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймутъ, что выгодно и пріятно увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманывать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за границу, не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на бесполезныя сооруженія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во-первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во-вторыхъ будутъ находить наслажденіе въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно неосуществимо, значитъ утверждать, что капиталистъ не человѣкъ и даже никогда не можетъ сдѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу резона, почему сынъ капиталиста не могъ бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъ же, какъ сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того, чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вносить къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственные силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда, разумѣется, дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно и качество его мозга будетъ улучшаться съ каждымъ десятилѣтіемъ. А если народъ будетъ дѣятеленъ, богатъ и уменъ, то что можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ...“

Въ этихъ *идиллическихъ предположеніяхъ*, какъ выражается самъ Писаревъ, онъ не былъ одинокимъ, а представлялся выразителемъ тысячъ людей одного съ нимъ типа, которые лишь на видъ казались такими страшными отрицателями, а на самомъ дѣлѣ ни къ чему не стремились, какъ лишь къ мирному прогрессу путемъ распространенія естественно-научныхъ знаній.

Увлекаясь естественными науками и видя въ распространеніи естественно-научныхъ знаній панацею отъ всѣхъ общественныхъ золъ, Писаревъ естественно изъ всѣхъ литературныхъ и журнальныхъ отраслей особенно высоко ставилъ популяризацию наукъ. Мы видѣли, что даже Щедрину онъ совѣтовалъ бросить писать сатиры и сдѣлаться популяризаторомъ. И смѣемъ думать, что это не была со стороны Писарева одна иронія и полемическая выходка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ совершенно серьезно популяризацию естественно-научныхъ знаній ставилъ неизмѣримо выше какихъ бы то ни было беллетристическихъ произведеній и искренно вѣрилъ, что въ будущемъ искусство сдѣлается не чѣмъ инымъ, какъ именно популяризацией науки. Такъ, въ концѣ своей статьи *Реалисты*, распространяясь о великомъ значеніи популяризації, онъ прямо говоритъ:

„Популяризаторъ непременно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоятъ именно въ томъ, чтобы слиться къ наукою и посредствомъ этого сліянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ

все—правда и все—красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего подобнаго придумать. Такія художественныя произведенія человекъ создать еще въспѣдствіи, когда онъ много поумнѣетъ и еще очень многому выучится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и теперь...”

И далѣе, затѣмъ, онъ излагалъ по пунктамъ правила, которыя долженъ соблюдать хорошій популяризаторъ, желающій принести своими популярными статьями истинную пользу. Правила эти столь замѣчательны, что до сихъ поръ они должны служить руководствомъ для каждаго, кто занимается популяризациею какихъ-либо знаній.

Не ограничиваясь однимъ восхваленіемъ популяризаціи званій и предписаніемъ правилъ для нея, Писаревъ, какъ извѣстно, и самъ усердно послужилъ этому дѣлу, и въ теченіе своей литературной дѣятельности представилъ цѣлый рядъ блестящихъ популярныхъ статей по естествознанію и исторіи, которыя и теперь еще читаются молодежью съ увлеченіемъ.

Но всѣмъ этимъ не исчерпывается значеніе Писарева въ нашей литературѣ. Своими эстетическими отрицаніями, проповѣдью базаровскаго типа и популяризациею естественно-научныхъ знаній онъ выразилъ лишь тотъ историческій моментъ, въ который развернулась его литературная дѣятельность. Все это были молодья, преходящія увлеченія, и если бы ими одними исчерпывалась дѣятельность Писарева, то сочиненія его, кромѣ нѣсколькихъ популярныхъ компилятивныхъ статей, конечно, давно были бы забыты. Но въ его критическихъ статьяхъ вы найдете нѣчто, стоящее неизмѣримо выше его молодыхъ увлеченій и что никогда не потеряетъ свою цѣну. Это именно—блестящій и чуткій критическій талантъ, вооруженный могучимъ, смѣлымъ и безпощаднымъ анализомъ. Этотъ анализъ стоитъ, по нашему мнѣнію, на одной высотѣ съ добролюбовскимъ и составляетъ главное достоинство критическихъ статей Писарева. Онъ будитъ молодой умъ, заставляетъ взглядываться вокругъ себя нитливымъ взоромъ, сразу раскрываетъ передъ неопытными глазами массу лжи, дѣланности и возмутительнаго зла въ такихъ явленіяхъ жизни, которыя примелькались, и не только не отвращаютъ отъ себя, но кажутся даже чѣмъ-то похвальнымъ и доблестнымъ, и, въ концѣ концовъ, критикъ вполне разрушаетъ всѣ дѣтскія радужныя иллюзіи. Таковы статьи его: *Стоячая вода; Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ; Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова; Романъ кисейной барышни; Подрастающая гуманность; Погибшіе и погибающіе; Борьба за жизнь; Старое барство;* и пр. Статьи эти до сихъ поръ читаются съ большимъ увлеченіемъ и несомнѣнною пользою и долго еще не будутъ забыты.

V.

Послѣ смерти Добролюбова и удаленія Чернышевскаго главнымъ критикомъ *Современника* сдѣлался Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ. М. А. Антоновичъ родился 27-го апрѣля 1835 г. въ Вѣлопольѣ, Харьковской губерніи. Онъ былъ сынъ дьячка. Учился въ Харьковской семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1855 году, и поступилъ въ Петербургскую духовную академію, откуда вышелъ въ 1859 году кандидатомъ богословія.

Изъ сообщенныхъ Антоновичемъ автобіографическихъ свѣдѣній, напечатанныхъ въ словарь С. А. Венгерова, мы видимъ, что «главнымъ образомъ духовная жизнь студентовъ слагалась подъ вліяніемъ текущей журналистики. Новыя вѣянія, широкою волною хлынувшія на все русское студенчество вообще, захватили и студенчество академическое. Будущіе богословы не только зачитывались *Современникомъ*, они проникали тайкомъ въ Публичную Библіотеку и тамъ добывали *Stoff und Kraft* Бюхнера и даже *Жизнь Іисуса* Давида Штрауса. Выпускъ 1859 года, къ которому принадлежалъ Антоновичъ, не далъ ни одного монаха».

Будучи на 4-мъ курсѣ, Антоновичъ отнесъ въ *Современникъ* статью, подобравши въ ней коллекцію современныхъ проповѣдей, въ которыхъ только и можно было найти, что «восплачемте, братія», «плачьте, люди, день и ночь», «рыдайте, грѣшники», и т. д. Статья была сдана на просмотръ Добролюбову: онъ нашелъ сюжетъ мало-интереснымъ, но изложенію ему понравилось, и онъ предложилъ Антоновичу написать что-нибудь хотя бы тоже изъ знакомой ему церковной сферы, но вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное и для всей публики. Результатомъ этого предложенія явилась неподписанная статья о книгѣ Щапова *Расколъ старообрядчества* (*Совр.* 1859 г., № 10), въ которой начало придѣлано Добролюбовымъ. Съ тѣхъ поръ Антоновичъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Современника*; сначала писалъ статьи о книгахъ философскаго содержанія, со смертью же Добролюбова, въ 1861 г., перешелъ на критическій отдѣлъ, а съ 1863 г., послѣ ареста Чернышевскаго, ему было предоставлено редактированіе этого отдѣла.

Уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, при Добролюбовѣ и Чернышевскомъ, Антоновичъ обратилъ на себя вниманіе философскими статьями, каковы: *Современная философія* (по поводу философскаго лексикона Гогоцкаго), *Два типа современныхъ философовъ* (по поводу *Трехъ бесѣдъ о современномъ значеніи философіи* П. Л. Лаврова), *О гегелевской философіи* (по поводу книги *Гегель и его время*), *Современная физиологія и философія* (о *Физиологіи обыденной жизни* Льюиса), но наибольшее впечатлѣніе произвелъ онъ своею критикою *Отцовъ и дѣтей* Тургенева въ № 3 *Современника* за 1862 годъ, подъ заглавіемъ *Асмодей нашего времени*. Статья эта, конечно, далеко не удовлетворитъ насъ, если мы будемъ смотрѣть на нее съ точки зрѣнія идеала истинной художественной критики и искать въ ней всесторонняго разбора романа Тургенева. Она носитъ полемическій характеръ, и сравненіе романа Тургенева съ *Асмодеемъ* Аскоченскаго, конечно, сдѣлано не въ серьезъ, а есть лишь рѣзкій полемическій приемъ, имѣющій цѣлью повалить врага однимъ ударомъ. Но статья Антоновича вѣдь и написана была не для изслѣдователей таланта Тургенева, учителей словесности и ихъ учениковъ и не для потомства; это была боевая статья, требуемая обстоятельствами времени, и она достигла своей цѣли. Нужно взять во вниманіе ту вредную сенсацію, какую произвелъ романъ Тургенева въ русскомъ обществѣ, восторгъ реакціонеровъ, поднявшихъ головы послѣ появленія романа, въ которомъ передовое молодое поколѣніе, жаждущее свѣта и блага, было изображено въ видѣ нигилистовъ, отрицающихъ все и вся, на каждомъ шагѣ себѣ противорѣчащихъ и попадающихъ въ глухие просаки. Обидѣе всего было то, что значительная часть самого молодого поколѣнія не поняла поще-

чины, какая ей была дана Тургеневымъ, и начала искать своего идеала въ образѣ Базарова и въ числѣ такихъ, не раскусившихъ оскорбленія, было свѣтило молодой критики въ лицѣ Писарева, начавшаго носиться съ базаровскимъ типомъ. Статья Антоновича, въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, была необходимымъ отпоромъ противъ восторженныхъ овацій оперявшейся реакціи. Разобравши всѣ несообразности романа Тургенева и доказавши, что Базаровъ — клевета на молодое поколѣніе, Антоновичъ умѣрилъ восторги противниковъ и открылъ глаза тѣмъ изъ своихъ единомышленниковъ, которые желали видѣть.

Вмѣстѣ съ тѣмъ статья Антоновича впервые ясно опредѣлила тотъ антагонизмъ, какой таился въ средѣ прогрессивнаго лагеря между фракціею народниковъ *Современника* и естественниковъ *Русскаго Слова*. Между обоими журналами возникаетъ съ этого момента ожесточенная полемика, которая велась не изъ одной только вражды двухъ конкурирующихъ журналовъ и была не однимъ лишь личнымъ турниромъ Антоновича съ Писаревымъ и Зайцевымъ изъ-за того, кому занимать первое мѣсто въ критикѣ, — а борьбою двухъ фракцій; вся молодежь того времени раздѣлилась на два лагеря — на приверженцевъ *Современника* и *Русскаго Слова*. Poleмические фельетоны Антоновича, подписанные *Постороннимъ Сатирикомъ*, читались точно такъ же на-расхватъ, какъ и отвѣты на нихъ сотрудниковъ *Русскаго Слова*. Въ ожесточеніи борьбы много было сказано излишняго съ обѣихъ сторонъ; противники доходили до такого самозабвенія, что принципиальную полемику замѣнили площадною руганью не совсѣмъ хорошаго тона. Но приверженцы обѣихъ фракцій прощали всѣ излишества, отлично понимая, что не въ нихъ суть.

Во всякомъ случаѣ борьба *Современника* съ *Русскимъ Словомъ* имѣетъ значеніе въ русской литературѣ немаловажное: она характеризуетъ собою конецъ 60-хъ годовъ, хаотическое состояніе умовъ передовыхъ классовъ нашего общества, взбудораженныхъ всѣмъ предшествовавшимъ. Все старое міросозерцаніе, начиная съ патріархальныхъ взглядовъ на міръ Божій нашихъ предковъ и кончая метафизическими умствованіями сороковыхъ годовъ, было распатано, повержено, и друзья старыхъ традицій отгрызались уже не научными или философскими доводами, а лишь грязными инсинуаціями криминальнаго характера: не въ силахъ будучи возражать, они только и дѣлали, что кричали караулъ, сваливая въ одну грудку вмѣстѣ съ молодыми, здоровыми, свѣжими отпрысками новыхъ идей всевозможныя заблужденія, возникавшія на почвѣ умственной незрѣлости и нравственной распушенности нашего общества. Сами приверженцы новаго міросозерцанія безразлично сваливали въ одну грудку все, въ чемъ замѣчалась хотя тѣнь протеста противъ гнилого и отжившаго, будь этотъ протестъ лишенъ всякой осмысленности. Однимъ словомъ, это была эпоха полной умственной анархіи. Новыя реальныя идеи проповѣдывались и принимались по большей части въ видѣ прекрасныхъ, но отрывочныхъ афоризмовъ, безъ всякой систематической связи и философской обработки. Каждый такой афоризмъ принимался съ криками восторга одними и — ужаса другими, и чѣмъ круче и смѣлѣе онъ становился, тѣмъ болѣе возбуждалъ шума, а подъ конецъ дошло до того, что въ этомъ хаосѣ нельзя уже было ничего разобрать — истинно-прогрессивнаго отъ ложнаго, пшеницы отъ плевелъ, и въ самомъ прогрессивномъ лагерѣ началось

кулачное право, присущее каждой анархїи, въ которой, какъ это всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, своя своихъ не познаша и побѣша. Полемика *Современника* съ *Русскимъ Словомъ*, Антоновича съ Писаревымъ, Зайцевымъ и Благосвѣтловымъ — была однимъ изъ наиболѣе яркихъ проявленій этого кулачнаго права.

VI.

Въ нашей литературѣ неоднократно выпадали такіе моменты, когда сразу измѣнялись весь ея составъ и характеръ, словно театральныя декорации по командѣ невидимаго режиссера. Такимъ моментомъ былъ, между прочимъ, 1866-й годъ. Годъ этотъ можно считать рѣзкою гранью между 60-ми и послѣдующими 70-ми годами. И дѣйствительно, послѣ этого злополучнаго года не только одни органы печати были смѣнены новыми, но и во главѣ новыхъ органовъ встали новые, только что вышедшіе на литературную арену, дѣятели.

Такъ, послѣ закрытія *Современника* (въ 1866-мъ году), въ слѣдующемъ 1867-мъ Некрасовъ взялъ у Краевского въ аренду *Отечественныя Записки*, едва существовавшія подъ редакціей Зарина и Страхова, и съ 1868 года журналъ возродился подъ новою редакціею. Но было бы ошибочно видѣть въ новыхъ *Отечественныхъ Запискахъ* возобновленіе *Современника*. Начать съ того, что изъ состава *Современника* вышли три такіе главные столпа его, какъ Антоновичъ, Ю. Жуковский и Пыпинъ, не захотѣвшіе работать въ органѣ, хотя и взятомъ Некрасовымъ въ полноправную аренду, но все-таки принадлежавшемъ Краевскому, съ которымъ *Современникъ* не переставалъ вести принципиальную полемику. Составъ *Отечественныхъ Записокъ* въ первые десять лѣтъ новой редакціи былъ слѣдующій: во главѣ его стояли Некрасовъ, Салтыковъ, Гр. З. Елисѣевъ, Н. К. Михайловскій. Затѣмъ главными сотрудниками были Н. С. Курочкинъ, Н. А. Деммертъ, Писаревъ, посорившійся передъ тѣмъ съ Благосвѣтловымъ и примкнувшій къ *Отеч. Запискамъ*, и пр.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ состава редакціи измѣнился и характеръ, и тонъ журнала, сравнительно съ *Современникомъ*. Тѣ самыя социальныя идеи, которыя проводились *Современникомъ* въ ихъ отвлеченномъ видѣ на общеевропейской почвѣ, сообразно тому, какъ онѣ развивались въ сочиненіяхъ Фурье, Прудона, Луи-Блана и пр., — въ *Отечественныхъ Запискахъ* начали проводиться въ примѣненіи ихъ къ русской жизни, что и придадо журналу тотъ народническій характеръ, который сохраняли *Отечественныя Записки* до самаго своего прекращенія, при чемъ послѣ смерти Некрасова составъ редакціи нѣсколько измѣнился: во главѣ журнала стояли Салтыковъ (какъ арендаторъ журнала), Елисѣевъ и Михайловскій, но не было уже ни Курочкина, сотрудничество котораго по болѣзни было лишь номинально, ни умершаго Деммерта, котораго смѣнилъ въ качествѣ внутренняго обозрѣвателя С. Н. Кривенко.

Русское Слово, въ свою очередь, было замѣнено *Дѣломъ*, журналомъ, основаннымъ тѣмъ же Гр. Евл. Благосвѣтловымъ. Журналъ этотъ старался поддерживать традиціи *Русскаго Слова*, проповѣдая популяризацию естественно-научныхъ знаній, какъ панацею въ борьбѣ со всеми общественными недугами. Но составъ сотрудниковъ *Дѣла* былъ, въ свою

очередь, советѣмъ иной, чѣмъ въ *Русскомъ Словѣ*. Не было уже ни Писарева, ни Зайцева, ни Соколова. Мѣсто ихъ заняли А. К. Шеллеръ, Н. В. Шелгуновъ, П. Н. Ткачевъ (П. Никитинъ), С. С. Шашковъ и пр.

Постепеновцы и почвенники 60-хъ годовъ смѣнились умѣренными либералами, группировавшимися вокругъ *Вѣстника Европы*. Журналъ этотъ былъ основанъ М. М. Стасюлевичемъ въ 1866 году и первые два года выходилъ лишь четыре раза въ годъ, при постоянномъ сотрудничествѣ Н. И. Костомарова и П. В. Анненкова. Съ 1868 года *Вѣстникъ Европы* началъ выходить ежемѣсячно при постоянномъ участіи А. Н. Пыпина, К. К. Арсеньева, Л. З. Словимскаго и пр.

Представителемъ консервативнаго направленія въ журналистикѣ былъ попрежнему *Русскій Вѣстникъ*: но такъ какъ вся дѣятельность издателя его М. Н. Каткова сосредоточивалась въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, то *Русскій Вѣстникъ* находился въ полномъ забросѣ; критика и публицистика почти совсѣмъ отсутствовали въ немъ, и все содержаніе его заключалось въ сухихъ и безцвѣтныхъ компиляціяхъ и тенденціозныхъ романахъ, изобличавшихъ различныя крамолы.

Считаемо излишнимъ перечислять специальную журналистику, газетную прессу, а также и тѣ журналы различныхъ направленій, которые существовали недолго, не успѣвая пріобрѣсти многочисленныхъ читателей и утвердиться въ публикѣ, каковы, напримѣръ, *Слово*, *Устои*, и проч.

Со смертію Писарева и съ прекращеніемъ журнальной дѣятельности Антоновича, который, по прекращеніи *Современника*, рѣдко началъ появляться на страницахъ журналовъ, роль перваго критика въ *Отечественныхъ Запискахъ* занялъ Николай Константиновичъ Михайловскій.

Михайловскій родился въ 1842 г. 15-го ноября въ Мещовскѣ, Калужской губерніи, въ бѣдной дворянской семьѣ. Образование получилъ въ Костромской гимназіи, затѣмъ въ Горномъ институтѣ. И въ гимназіи, и въ институтѣ онъ отличался сочиненіями на заданныя и самостоятельно выбранныя темы, составляя ихъ для себя и для другихъ. Въ 1860 году въ первый разъ выступилъ онъ печатно въ журналѣ Кремпина *Разсвѣтъ*, гдѣ была помѣщена критическая статейка его о появившемся въ *Современникѣ* отрывкѣ изъ романа Гончарова *Обрывъ*, — *Софія Николаевна Бъловодова*.

Въ 1861 году Михайловскій принужденъ былъ выйти изъ Горнаго института по случаю школьной исторіи. Мечтая объ адвокатскомъ поприщѣ, онъ началъ было посѣщать лекціи перваго курса юридическаго факультета въ С.-Петербургскомъ университетѣ, но скоро пересталъ, бросивъ свои мечты объ адвокатствѣ и рѣшивши прожить безъ диплома.

До 1865 года участіе Михайловскаго въ литературѣ было рѣдко и случайно. Изрѣдка пописывалъ онъ сначала въ *Современномъ Словѣ* Писаревского и затѣмъ въ *Якорѣ* Шульгина. Съ 1865 же года онъ посвятилъ себя всего литературѣ, принявъ постоянное участіе въ *Книжномъ Вѣстникѣ*, редактировавшемся Н. Ст. Курочкинымъ. По прекращеніи *Книжнаго Вѣстника* Михайловскому пришлось бѣдствовать, тщетно стараясь пристроиться къ *Дѣлу* Благосвѣтлова, къ *Гласному Суду* Артоболевскаго, *Современному Обозрѣнію* Тиблена и *Невскому Сборнику* Вл. Курочкина. Въ 1868 году Михайловскій принималъ участіе въ *Не-*

дѣль, редактировавшейся П. К. Конради, и лишь съ 1869 года, съ начала сотрудничества его въ *Отечественныхъ Запискахъ*, положеніе его упрочилось, особенно со смертью Некрасова, въ 1877 году, когда онъ вошелъ вмѣстѣ съ Елисеѣвымъ и Салтыковымъ въ число соарендаторовъ *Отечественныхъ Записокъ*.

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* дебютировалъ онъ статьями: *Что такое прогрессъ* (Герб. Спенсеръ, Собраніе сочиненій), въ №№ 2, 9 и 11 1869 года, *По поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ* въ № 4 и 5 того же года, *Аналогическій методъ въ общественной наукѣ*, № 7, и пр. Изъ философо-публицистическихъ статей его позднѣйшаго времени упомянемъ, какъ наиболѣе замѣчательныя:

Теорія Дарвина и общественная наука (От. З. 1870 г., №№ 1, 3, и 1871 г., № 1), *Органъ, недѣлимое общество*, (От. З. 1870, № 12), *Замѣтки о дарвинизмѣ* (От. З. 1871, № 12). *Что такое счастье?* (От. З. 1872, №№ 3, 4), *Борьба за индивидуальность, социологическіе очерки* (От. З. 1875, № 10, 1876 г., №№ 1, 3, 6), *Вольница и подвижники, историческія параллели* (От. З. 1877, № 1), *Герои и толпа* (От. З. 1882, №№ 1, 2, 5). Изъ литературно - критическихъ статей его наиболѣе выдаются: *Суздальцы и Суздальская критика* (От. З.



Н. К. Михайловскій.

1870, № 4), *Десница и шуйца гр. Л. Толстого* (От. З. 1875, №№ 5, 6, 9), *Жестокій талантъ* (о Ф. Достоевскомъ) (От. З. 1882, № 10), *О Тургеневѣ* (От. З. 1883, № 9), *О Глѣбѣ Успенскомъ* (От. З. 1883, № 12, и передовая статья къ полному собранію сочиненій Гл. Успенскаго, изд. Ф. Павленкова), *О Щедринѣ* (*Русск. Вѣд.* 1889 г.), *Ник. Вас. Шелгуновъ*—вступительная статья къ собранію «Сочиненій Н. Шелгунова» изд. Ф. Павленкова 1890 г.), и проч. Сверхъ того рядъ критико - литературныхъ фельетоновъ въ *От. Запискахъ*, *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, *Русскомъ Богатствѣ*, *Русской Мысли*, *Русскихъ Вѣдомостяхъ*.

Мы говорили уже выше о томъ хаотическомъ состояніи умовъ, которое господствовало во вторую половину 60-хъ годовъ. Конечно, не бран-

чивою полемикою можно было распутать всю путаницу взаимныхъ недо-разумѣній. Здѣсь прежде всего былъ необходимъ свѣтъ знанія философски-развитой мысли, необходимо было появленіе такого публициста, который обладалъ бы умомъ сильнымъ, свѣтлымъ, философски-развитымъ и снабженнымъ богатою эрудиціею, и принялъ бы на себя трудную и неблагодарную роль расчистить хаотическую груду отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все, что было въ ней драгоценнаго, и облечь его въ стройную философскую систему.

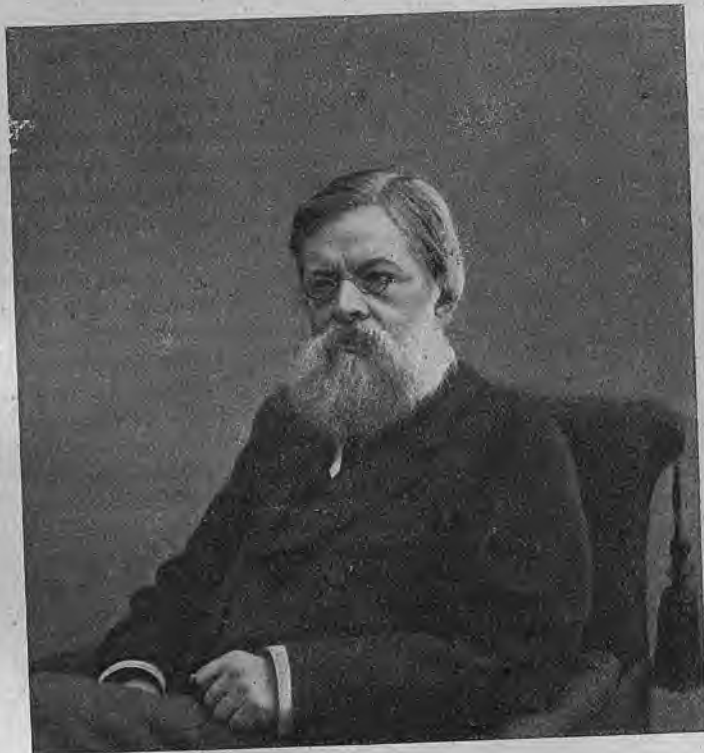
Работу эту и принялъ на себя Н. К. Михайловскій, и въ первыхъ же статьяхъ своихъ обнаружилъ въ себѣ человѣка, способнаго совершить ее по всѣмъ своимъ какъ умственнымъ, такъ и нравственнымъ качествамъ.

Главная сила таланта Михайловскаго заключается именно въ философски-воспитанномъ умѣ, обладающемъ, при богатой эрудиціи, непреодолимую діалектикою, всеразлагающимъ анализомъ и своеобразнымъ остроуміемъ, отличающимся не мишурнымъ блескомъ какихъ-либо кунштюковъ и каламбурцевъ, основанныхъ на внѣшней игрѣ словъ, а на способности выставить нелѣпости и безобразія во всемъ ихъ абсурдѣ. Убийственный огонь критическихъ и полемическихъ статей Михайловскаго, вскорѣ послѣ появленія почтеннаго публициста на литературномъ поприщѣ, сдѣлался страшнымъ не для однихъ записныхъ и заклатыхъ враговъ его лагеря, но и для многихъ мнимыхъ друзей, которые были въ глазахъ Михайловскаго вреднѣе самихъ враговъ въ томъ отношеніи, что портили дѣло, запутывали умы, и безъ того не твердые въ мышленіи, и подъ знаменемъ прогрессивныхъ идей и передовыхъ западныхъ авторитетовъ подносили русской публикѣ всякое гнилье. Желая очистить лагерь отъ этихъ мнимыхъ друго-враговъ (какъ выразился въ одной своей статьѣ Михайловскій), онъ, не ограничиваясь ими, предалъ глубокому анализу и западные авторитеты, чтобы и въ нихъ очистить шпениду отъ плевелъ и научить русскую публику обращаться съ ними критически, не принимая каждое ихъ слово на вѣру. Его статьи о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по социологіи представляютъ цѣнный вкладъ въ науку, и если бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили бы доставить автору общеевропейскую извѣстность. Смерть Михайловскаго послѣдовала въ ночь съ 27 на 28 января 1904 г.

Кромѣ Н. К. Михайловскаго въ области литературной критики въ теченіе 60-хъ годовъ и позже наиболѣе выдавались слѣдующія личности. Александръ Николаевичъ Пыпинъ—родился въ 1833 г. въ Саратовѣ, въ дворянской семьѣ. Учился въ саратовской гимназіи. Затѣмъ въ 1853 г. кончилъ курсъ въ Спб. университетѣ кандидатомъ историко-филолог. факультета. Ученая карьера не удалась Пыпину. По защитѣ магистерской диссертациі въ 1857 г., онъ былъ посланъ на два года за границу; затѣмъ былъ назначенъ экстр. профессоромъ по кафедрѣ исторіи европейскихъ литературъ, но въ ноябрѣ 1861 г. вышелъ въ отставку одновременно съ Кавелинымъ, Спасовичемъ и пр. вслѣдствіе студенческихъ безпорядковъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ онъ былъ избранъ академіею наукъ своимъ сочленомъ по русской исторіи, но вслѣдствіе противодѣйствія министра Д. Толстого принужденъ былъ отказаться отъ

избранія, и лишь въ 1897 г., по прошествіи 26 лѣтъ, академія вновь избрала его своимъ сочленомъ.

Первою журнальною статьею Пыпина было изслѣдованіе о драматургѣ XVIII вѣка Лукинѣ (*От. З.* 1853 г.). Съ тѣхъ поръ онъ принималъ дѣятельное участіе въ *Отеч. Зап.* рецензіями и статьями по исторіи литературы. Съ 1863 года онъ перешелъ въ *Современникъ*, былъ членомъ редакціи, а съ 1865 г. отвѣтственнымъ редакторомъ *Современника* до закрытія его въ 1866 году. Затѣмъ съ 1867 года онъ вступилъ въ



А. Н. Пыпинъ.

редакцію *Вѣстника Европы*, въ качествѣ соредатора и постоянного сотрудника журнала, чѣмъ пребывалъ до смерти. Какъ на наиболѣе выдающіяся историко-литературныя работы его, укажемъ на слѣдующія: «Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I», «Характеристики литературныхъ мнѣній отъ 1820 до 50 хъ годовъ», «Бѣлинскій, его жизнь и переписка», «Исторія русской этнографіи», «Исторія русской литературы», и пр.

Умеръ А. Н. Пыпинъ 26 ноября 1904 года.

Марья Константиновна Цебрикова—родилась въ 1835 году, въ Кронштадтѣ, въ семьѣ моряка; воспитаніе получила подъ руководствомъ дяди,

декабриста Н. Р. Цебрикова. Первая статья ея, обратившая на писательницу вниманіе публики и давшая ей извѣстность, была «Наши бабушки», по поводу женскихъ типовъ въ сочиненіяхъ Л. Толстого, напечатанная въ *Отеч. Записк.* 1868 г. Затѣмъ статьи ея начали появляться во всѣхъ журналахъ либеральнаго и радикальнаго направленія. Не ограничиваясь однѣми критическими статьями, она много писала по женскому вопросу, по воспитанію, воспоминанія и повѣсти. Продолжаетъ писать и нынѣ подъ псевдонимомъ М. Николаевой.

Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ, сынъ извѣстнаго историка, родился въ Петербургѣ, въ 1837 г. Въ 1849 г. поступилъ въ училище Правовѣдѣнія, по окончаніи курса въ которомъ поступилъ на службу въ 1855 г. Литературную дѣятельность свою началъ историческими статьями, печатавшимися въ Русскомъ Вѣстникѣ 1857—



М. К. Цебрикова.

61 г. Съ 1862 г. онъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности: сначала принявъ участіе въ *От. Зап.*, затѣмъ въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ*,— въ обоихъ изданіяхъ въ качествѣ иностраннаго обозрѣвателя. Затѣмъ, состоя на службѣ, адвокатствую и занимая мѣсто предсѣдателя сов. прис. повѣр. въ Спб. округѣ, онъ не переставалъ сотрудничать въ *Вѣстникѣ Европы*, съ самаго основанія этого журнала, въ качествѣ публициста и обозрѣвателя внутренней жизни. Здѣсь же впервые выступилъ онъ въ качествѣ критика, написавши въ теченіе 90-хъ годовъ рядъ критическихъ этюдовъ о Щедринѣ, Гл. Успенскомъ, Достоевскомъ, Ап. Майковѣ, молодыхъ беллетристахъ и поэтахъ и пр. Большая часть этихъ статей вошла въ отдѣльно изданную имъ книгу *Критическіе этюды по русской литературѣ*.

Петръ Никитичъ Ткачевъ родился въ 1844 г. въ Псковской губерніи, въ небогатомъ помѣщицкѣмъ семействѣ. Поступилъ на юридическій факультетъ Спб. университета, гдѣ и кончилъ курсъ со степенью кандидата, отсидѣвъ нѣсколько мѣсяцевъ въ кронштадтской крѣпости во время университетскихъ беспорядковъ. Писать началъ рано: первая статья его *О судѣ по преступленіямъ противъ законовъ о печати* была напечатана во *Времени* 1862 г. Затѣмъ появился рядъ статей его по судебной реформѣ во *Времени*, *Эпохѣ*, *Библиотекѣ для Чтенія*. Въ 1865 г. онъ сошелся съ Благосвѣтловымъ и началъ писать въ *Русскомъ Словѣ* и *Дѣль*. Здѣсь, кромѣ массы статей публицическаго и статистическаго характера, выступилъ онъ между прочимъ и въ качествѣ критика, написавши массу статей по текущей литературѣ, преимущественно подъ псевдонимомъ П. Никитина. Въ статьяхъ этихъ, не лишенныхъ таланта, читавшихся въ свое время съ увлеченіемъ молодежи 60-70-хъ г., онъ